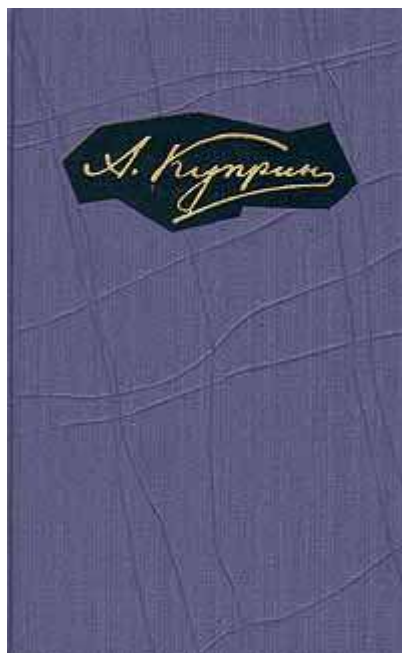


Александр Иванович Куприн
Том 5. Произведения 1908-1913

Серия: *Собрание сочинений Куприна в девяти томах – 5*



*«Собрание сочинений в девяти томах»:
Правда; Москва; 1964;*

Аннотация

В пятый том вошли произведения 1908–1913 гг.:

- Суламифь
- Морская болезнь
- Ученик
- Свадьба
- Мой паспорт
- Последнее слово
- Лавры
- О пуделе
- В Крыму (Меджид)
- Бедный принц
- В трамвае
- По-семейному
- Леночка
- Искушение
- В клетке зверя
- Попрыгунья-стрекоза
- Гранатовый браслет
- Королевский парк
- Телеграфист
- Белая акация
- Начальница тяги
- Чужой петух
- Путешественники
- Травка
- Черная молния
- Медведи
- Анафема
- Слоновья прогулка
- Жидкое солнце
- Светлый конец

Суламифь

Положи мя яко печать на сердце твоём, яко печать на мышце твоей: зане крепка яко смерть любовь, жестока яко смерть ревность: стрелы ее – стрелы огненные.

Песнь песней

I

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста – сорока пяти лет, – а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Йемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного – с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце зифе, предпринял царь сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков непрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжелой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфуи Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов; человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова. Через семь лет, в месяце буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет – царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампы, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов – подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, – с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли: «Фарсис», ходивший по Средиземному морю, и «Хирам», ходивший по Черному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками – дружественные дары царя Тиглат-Пилеазара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; златокованные кубки из Тира; из Сидона – цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-Эль-Мандеба, те редкие благово-

ния — нард, алоэ, трость, киннамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как предпринимали не раз кровавые войны, простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать коров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков — все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

II

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, красногубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса, смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких аммореянок, сложенных без упрека, — их верность и покорность в любви вошли и пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравивавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Бальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей все женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ваней, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями — любовными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины! Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них — украшение мудрости — блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а

ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь опьянялся любовью, или вином, или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу – так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви. Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселые сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире, – он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и ножные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания. Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

III

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону Бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсиппы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом – глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадкой непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облакал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. «Слово – искра в движении сердца», – так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотой обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую Господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соло-

мон.

Изучил царь учения магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его – грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркетю, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу ниневийскому, и мрачной Кибеле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона – богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору – богу вечного огня и таинственной Омороге – праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы – людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, – и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал он приношение жертв любимому богу, и даже сам построил на Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллаан – моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью – жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во mnogой мудрости много печали, и кто умножает познание – умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии:

– Все суета сует и томление, духа, – так говорит Екклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему Бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ваты-Эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, вперемежку с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу серебряников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь Израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но проницательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал в свою очередь тонкую политическую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык. И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-Эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, на верху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на

царе, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов – символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря – туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце. Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда – тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листья олив. Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место. Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

Деньдохнул прохладой,
Убегают ночные тени.
Возвращайся скорее, мой, милый,
Будь легок, как серна,
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна – никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,
Будь подобен серне
Или молодому оленю
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

– Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиной к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

– Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! – говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи и разбегаются по

спине и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

– Я не заметила тебя! – говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. – Откуда ты пришел?

– Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

– Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

– У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого... Они молчат с минуты и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

– Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

– Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает вверх маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

– Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот – погляди, как опалило меня солнце!

– О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои – как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои – точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы – наслаждение – смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

– Как башня Давидова! – повторяет она в упоении.

– Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню... – О, говори, говори еще...

– А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

– И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза – изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твоё. Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

– Скажи мне, кто ты? – говорит она медленно, с недоумением. – Я никогда не видела подобного тебе.

– Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

– Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твоё не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, – и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких царю? Мне кажется, что я видала тебя однажды в день великого праздника, мне даже помнится – я бежала за твоей колесницей.

– Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты, я главный повар царя. И ты видела меня,

когда я ехал в колеснице Аминодавой в день праздника пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и Расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

– Суламифь, – говорит она.

– За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

– Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

– А ты потеряла деньги?

– Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

– Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

– И ты скрыла это от братьев?

– Да.

И она произносит еле слышно:

– Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

– Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

– Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

– Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

– Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья – все старше меня – они от первого брака, а от второго только я и сестра.

– Твоя сестра так же красива, как и ты?

– Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

– Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

– Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард, – говорит он, жарко касаясь губами ее уха. – И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

– О, не гляди на меня! – просит Суламифь. – Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон принакает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка, и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни. Так проходит минута и две.

– Что ты делаешь со мною! – слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. – Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

– Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

– Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

– Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.

– Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе, – говорит он быстро.

– Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

– Я не пущу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!

– Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями; не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!

– Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?

– Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.

– А где же там твое окно, Суламифь?

– Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...

– Где же твое окно, единственная моя?

– Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... маленькое, высокое окно с решеткой.

– И решетка отворяется изнутри?

– Нет, это – глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?

Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.

– Я приду к тебе этой ночью, – говорит он настойчиво. – В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

– Милый!

– Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

– Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

– У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему. Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородами лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея – некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семеня, – теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с редкой длинной седой бородой; его выпцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красивая нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший вы-

сокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона – Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушай, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, – это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвой, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо – Ахиор, Захария и двое свидетелей – стояли перед тронном царя Израильского. Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

– Отведите их всех в отдельные покои и запирайте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куса сырой глины.

– Пусть каждый из них, – повелел царь, – вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой – в виде овечьей головы, и только у двоих – у Ахиора и Захарии слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь. И царь сказал:

– Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее – для старшего, среднее – для среднего, нижнее – для меньшего из братьев». И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед тронном, не воздержались они от взаимных упреков и обид. Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

– Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему – весь скот и всех рабов, а младшему – дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев – недавние враги – с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

– Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

– Я исполнил все, что ты приказал, царь, – сказал этот человек. – Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

– Прекрасный выстрел, – сказал Соломон. – А младший?

– Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

– Так пусть ему и принадлежит имение его отца, – решил царь. – Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

– Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше перед лицом бога – девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника. И сказал царь последнему:

– Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

– Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него! Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

– Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

– Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

– Когда это было? – спросил царь.

– Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны

были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

– Молили ли вы бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей? И они ответили:

– Да, царь! Это так. И богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

– Я радуюсь за вас, – сказал Соломон. – Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

– Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар. И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за незаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

– Царь!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руки и воскликнул с мольбой:

– Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

VI

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность – праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая. Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами – сидел, поджав под себя ноги и шуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь: – Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!» – ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевою теней и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо ле-

жала на полу. Дрожа от робости, ожидания и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, под мышками и вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя: – Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его – чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон. Уста его – сладость, и весь он – желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат. цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сто-рож.

«Что, если он не придет сегодня? – думает Суламифь. – Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

– Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубизна моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевелить рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

– Ах, кудри его полны ночью влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

– Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

– Я вымыла ноги мои, – шепчет Суламифь, – как же мне ступить ими на пол? Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь, встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе:

– Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверх него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался – ушел, даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

– Возлюбленный мой! Царь жизни моей! – кричит Суламифь во влажную темноту. – Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отзывается.

«Побегу же я по дороге; догоню, догоню моего милого, – говорит про себя Суламифь. – Пройду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками.

– Подожди, подожди, красавица! – восклицает он со смехом. – Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

– И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха – она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-Эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном. Как и вчера, заря пылает над Аназе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

– Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный, – говорит Суламифь. – Прикоснусь руками камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она между лозами. Роса падает с них и холодит ей ноги и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки. Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя. Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

– О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

– О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности – блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова.

– Ложе у нас зелень. Кедры – потолок над нами... Лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущенья она говорит:

– Братья мои поставили меня стеречь виноградник... А своего виноградника я не уберегла. Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

– Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

– О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду проносить с благодарностью твое имя, Соломон!

– Скажи мне еще, Суламифь... Только, прошу тебя, скажи правду, чистая моя. Знала ли ты, кто я?

– Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-Эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или

иной бог?

– Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда, ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы, не горело мое сердце таким неутолимим желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои – они ароматны. Сосцы твои – как вино!

– О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как мирровый пучок у меня между грудей!

Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них – зелень, кровля – кедры, стены – кипарисы. И знамя над их шатром – любовь.

VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами. Перед тем как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поглубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала: «Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темно-огненные кудри и перевили их нитями крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями.

В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно:

– Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распушенными знаменами! Семьсот жен я знал и триста наложниц, и девиц без числа, но единственная – ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы и правознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца. Она же подошла к резной масляной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

– Я хочу быть только твоею рабой, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку. И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубокого-красных карбункулов, обделанных в виде удлинённых груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал:

– Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею. Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги, в сандалиях!» – восклицал он

с восторгом и, становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфодее первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней, о их волшебных свойствах и таинственных значениях.

– Вот анфракс, священный камень земли Офир, – говорил царь. – Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распутившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руку, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его, растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь – он некрасив, но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна. Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности – холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце.

Царь всех камней – камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит – неодолимый. Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, – угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпугивает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, – это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд – любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утишает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченный смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадов, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор, – аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз – оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий – средство от бельма и проказы, добрый

спутник странников; и разноцветный агат – носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый мутно-прозрачный онихий – сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит – друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, – поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз, – кроме того, он останавливает кровотечение из носа и заживляет всякие раны, исключая, ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, приготавливая его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

– Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона – величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов – его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь – прекрасна!

IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон – поэт, мудрец и царь – привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи – сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

– Скажи мне, мой царь, – спросила однажды Суламифь, – не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

– Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почтим и чужую мудрость.

– Да, – сказала Суламифь задумчиво, – может быть, и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стапти. Но ты вы-

шел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

– И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю бога, что он послал тебя на моем пути.

– Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

– Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твое тело, твое прекрасное тело, которое я люблю, как бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой, ты прекрасна, как колесница Аминодавова. Глаза твои, как два голубя, сидящих у истока вод.

– О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои, как мраморные столбы. Живот твой, точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, осиянные молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря. Также сказала однажды Суламифь:

– Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью:

– Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста наложниц, а девиц я знал без числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя подобно тому, как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы-тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

– Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой сбруе, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

– О дитя, тебе тогда было только восемь лет, – сказал Соломон с грустью.

– Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней? И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная сорокалетняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлеющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь, – сказала Балкис, – если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина». Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вы-

тирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водою каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам.

Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собою следом тончайшую шелковую паутинку. Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим, – повелела она сказать царю, – если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унизить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любви. И когда наскучила она, наконец, царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное, до земли, платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу. Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой. И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и приветливым взглядом черных глаз. Дверь открывается перед царицею, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и... Суламифь смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши.

– Она нагибается и приподымает платье? – спрашивает Суламифь.

– Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной травы – лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы. Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собою в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

– Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворце, а когда старший повар умер, то он заступил его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она го-

ворила с нежной улыбкою:

– Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

Х

В храме Изиды на горе Ватн-Эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец – древний старец в белой одежде, с бритой головой, безусый и безбородый, повернулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, усталым голосом:

– Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков. Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все посвященные в малый чин таинств простерлись на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца фаменота, посвященный мистериям Озириса и Изиды. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листьями и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гору, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его плавучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Озирис, великий податель жизни. Изида идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собою и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта. И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее, богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит. Таков был тайный смысл нынешней процессии в первой половине священнослужения. Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени – мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия. По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два другие жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней, – лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изиды отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к ему снаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения

сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокроуенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светила серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды, и парили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок – небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый, как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Бает из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха – лев, Пта-Апис, Готор – богиня веселья – корова, Анубис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиementу, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот – большие, средние и двое боковых маленьких – вели в святилище. Перед средними стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами. Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегло тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светила ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утерало своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно наругано и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди. С тех пор как Соломон охладил к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастрами, и даже теперь, когда один из них мерно обвеивал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворявшаяся страстность изошряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибелы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и напасти. Но волнуемое, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление,

они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни. Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных занавесок показывалось прекрасное, светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, но душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их. Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения матери богов.

– Оскопленный по неведению, или насилием, или случайно, или по болезни – не унижен перед богом, – сказал царь. – Но горе тому, кто сам изуродует себя. И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески.

Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаше слышались крик и смех и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Бен-Гевер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидова – Далуиа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были – иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей – поклонниками Изиды.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такою страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинуясь минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду – во дворце, в храме, на улицах – два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее. Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

– Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынный, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусстве на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно,

глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу.

Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

– Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож. После небольшого молчания он возгласил:

– Оплачете Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она! Два кастрата в женских одеждах – Изида и Нефтис – тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя – блаженство.

Изида закликает тебя, Изида, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра. Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы. В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»

Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Озириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадилниц и сistr, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса:

«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис. Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты. И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия. И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, созидającego новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды...

– Это ты, Элиав? – спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желания. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:

– Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

– О, как ты его любишь, царица! – сказал Элиав с горьким стоном.

– Говори... – приказала Астис. – Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

– Говори!

– Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстанется с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

– Говори! – О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она – вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

– Говори! – яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов

и дребезжание сistr.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

– Фаллус! Фаллус! Фаллус! – кричали в экстазе обезумевшие жрецы. – Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню! Грудь ее томится от желания! Чрево ее, как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса. Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды, бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй. Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом. Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

– Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

– Нет, царица, я хочу только тебя...

– Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

– Иди!

– Я иду, – ответил покорно Элиав.

ХII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

– Как называется эта звезда, мой возлюбленный? – спросила она.

– Это звезда Сопдит, – ответил царь. – Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

– Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под головою Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

– Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? – спросила тревожно Суламифь. Царь опять промолчал.

– Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, – робко попросила Суламифь. Тогда царь сказал:

– Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек

умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы-тем веков, все в мире повторяется, – повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

– Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росой!» – я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь? И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

– Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

– Это в храме Изида окончилось таинство, – сказал царь.

– Мне страшно, прекрасный мой! – прошептала Суламифь. – Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоём, как печать на мышце твоей!..

– Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитя?

– Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растёт от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то...

– О Суламифь, – все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь – я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:

– Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень и кипарисы и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои... В упоении поцеловал царь губы своей милой.

Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

– Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? – спросил Соломон.

– Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец. Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.

– Кто там? – воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампы. Он увидал Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:

– Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

– Царица Астис...

– Выйди, – приказал Соломон. – Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забежали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя. Старший врач сказал:

– Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:

– Я хочу пить.

И, когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкою остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

– Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

– До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно:

– Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

– Царь, Элиав – мой внук!

– Ты слышал меня, Ванея?

– Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

– Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?

– Прости меня! Пощади меня, царь!

– Подними лицо твое, – приказал Соломон.

И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

– Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцами к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

– Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с

горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:

– Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу, или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

– Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха. Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

– Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоём, как перстень на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность: стрелы ее – стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

– Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную пустую залу судилища.

Морская болезнь

I

Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя песчаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. На молу пахло тухлой рыбой и смоленным канатом. Было шесть часов вечера.

На палубе прозвонили в третий раз. Пароходный гудок засипел, точно он от простуды никак не мог сначала выдать из себя настоящего звука. Наконец ему удалось прокашляться, и он заревел таким низким, мощным голосом, что все внутренности громадного судна задрожали в своей темной глубине.

Он ревел нескончаемо долго. Женщины на пароходе, зажав уши ладонями, смеялись, жмурились и наклоняли вниз головы. Разговаривающие кричали, но казалось, что они только шевелят губами и улыбаются. И когда гудок перестал, всем вдруг сделалось так легко и так возбужденно-весело, как это бывает только в последние секунды перед отходом парохода.

– Ну, прощайте, товарищ Елена, – сказал Васютинский. – Сейчас будут убирать сходни. Иду.

– Прощайте, дорогой, – сказала Травина, подавая ему руку. – Спасибо вам за все, за все. В вашем кружке прямо душой возрождаешься.

– И вам спасибо, милая. Вы нас разогрели. Мы, знаете, больше теоретики, книгоеды, а вы нас как живой водой вспрыснули.

Он, по обыкновению, тряхнул ее руку, точно действовал насосом, больно сжав ей пальцы обручальным кольцом.

– А качки вы все-таки не бойтесь, – сказал он. – У Тарханкута вас действительно немного поваляет, но вы ложитесь заранее на койку, и все будет чудесно. Супругу и повелителю поклон. Скажите ему, что все мы с нетерпением ждем его брошюрку. Если здесь не удастся тиснуть, отпечатаем за границей... Соскучились небось? – спросил он, не выпуская ее руки и с фамильярным ласковым лукавством заглядывая ей в глаза.

Елена улыбнулась.

– Да. Есть немножко.

– То-то. Я уж вижу. Шутка ли, помилуйте – десять дней не видались! Ну, addio, mio

carissimo amico¹. Всем знакомым ялтинцам привет. Чудесная вы, ей-богу, человечница. Прощайте. Всего хорошего.

Он сошел на мол и стал как раз напротив того места, где стояла Елена, облокотившаяся на буковые перила борта. Ветер раздувал его серую крылатку, и сам он, со своим высоким ростом и необычайной худобой, с остренькой бородкой и длинными седеющими волосами, которые трепались из-под широкополой, черной шляпы, имел в наружности что-то добродушно комично-воинственное, напоминавшее Дон-Кихота, одетого по моде радикалов семидесятых годов.

И когда Елена, глядя на него сверху вниз, подумала о бесконечной доброте и душевной детской чистоте этого смешноватого человека, о долгих годах каторги, перенесенной им; о его стальной непоколебимости в деле, о его безграничной вере в близость освобождения, о его громадном влиянии на молодежь — она почувствовала в этой комичности что-то бесконечно ценное, умиляющее и прекрасное. Васютинский был первым руководителем ее и ее мужа на революционном поприще. И теперь, улыбаясь ему сверху и кивая головой, она жалела, что не поцеловала на прощанье у него руку и не назвала его учителем. Как бы он сконфузился, бедный!

Кран паровой лебедки поднялся в последний раз кверху, точно гигантская удочка, таща на конце цепи раскачивающуюся и вращающуюся массу чемоданов и сундуков.

— Все готово! — крикнули снизу.

— Убирай сходни! — ответили наверху из рубки и засвистали.

Носильщики в синих блузах подняли с обеих сторон сходню на плечи и отнесли ее в сторону. Под пароходом что-то забурлило и заклокотало.

По молу проходила грязнолицая, оборванная девочка с корзиной цветов, которые она тоном нищенки предлагала провожающим:

— Бя-я-рин, купите цветочков!

Васютинский выбрал у нее небольшой букетик полуувядших фиалок и бросил его кверху, через борт, задев по шляпе почтенного седого господина, который от неожиданности извинился. Елена подняла цветы и, глядя с улыбкой на Васютинского, приложила их к губам.

А пароход, повинувшись свисткам и команде и выплевывая из боковых нижних отверстий каскады пенной воды, уже заметно отделился от пристани. Он, точно большое мудрое животное, сознающее свою непомерную силу и боящееся ее, осторожно, боком отваливал от берега, выбираясь на свободное пространство. Елена долго еще видела Васютинского, возвышавшегося головой над соседями. Он ритмически подымал и опускал над головой свою бандитскую шляпу. Елена отвечала ему, размахивая платком., Но мало-помалу все люди на пристани слились в одну темную, сплошную массу, над которой, точно рой пестрых бабочек, колебались платки, шляпы и зонтики.

В Ялте теперь был разгар пасхального сезона, и поэтому с пароходом ехало необыкновенно много народа. Вся корма, все проходы между бортами и пассажирскими помещениями, все скамейки и шпильи, все коридоры и диваны в салонах были завалены и затисканы людьми, тюками, чемоданами, верхней одеждой. Назойливо и скучно кричали грудные дети, пароходные официанты увеличивали толкотню, носясь по пароходу взад и вперед без всякой нужды; женщины, как и всегда они делают в публичных местах, застревали со своей болтовней именно там, где всего сильнее кипела суета, — в дверях, в узких переходах; они заграждали общее движение и упорно не давали никому дороги. Трудно было себе вообразить, как разместится вся эта масса. Но мало-помалу все утоллось, улеглось, пришло в порядок, и когда пароход, выйдя на середину гавани и не стесняясь больше своей осторожностью, взял полный ход, — на палубе уже стало просторно.

II

Травина стояла на корме, глядя назад, на уходящий город, который белым амфитеатром подымался вверх по горам и венчался полукруглой беседкой из тонких колонн. Глазу было ясно заметно то место, где спокойный, глубокий синий цвет моря переходил в жидкую и грязную зелень гавани. Далеко у берега, как голый лес, возвышались трубы, мачты и реи судов. Море зы-

¹ Прощайте, мой дорогой товарищ — итал.

билось. Внизу, под винтом, вода кипела белыми, как вспененное молоко, буграми, и далеко за пароходом среди ровной широкой синевы тянулась, чуть змеясь, узкая зеленая гладкая дорожка, изборожденная, как мрамор, пенными, белыми причудливыми струйками. Белые чайки, редко и тяжело маша крыльями, летели навстречу пароходу к земле.

Еще не качало, но Елена, которая не успела пообедать в городе и рассчитывала поест на пароходе, вдруг почувствовала, что потеряла аппетит. Тогда она спустилась вниз, в глубину каютных отделений, и попросила у горничной дать ей койку. Оказалось, однако, что все места заняты. Краснея от стыда за себя и за другого человека, она вынула из портмоне рубль и неловко протянула его горничной. Та отказалась.

– Я бы, барышня, с моим удовольствием, только, ей-богу, ни одного местечка. Даже свое помещение уступила одной даме. Вот в Севастополе будет посвободнее.

Елена опять вышла на палубу. Сильный ветер, дувший навстречу пароходу, облеплял вокруг ее ног платье и заставлял ее нагибаться вперед и придерживать рукой край шляпы.

Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого правильными спиралями и оканчивавшегося медной гирькой с лопастями по бокам.

Прикрепив прочно медный инструмент к борту, боцман пустил гирьку на отвес, быстро развертел ее правой рукой, так что она вместе с концом шнура образовала сплошной мреющий круг, и вдруг далеко метнул ее назад, туда, куда уходила зелено-белая дорожка из-под винта. И в том, как гирька со свистом описывала длинную дугу, в той скорости, с которой потом сбегали с левой руки боцмана свернутые круги, а главное – в деловой небрежности, с какой он это делал, Елена почувствовала особенное, специальное морское щегольство. У нее был необыкновенно зоркий глаз на эти мелочи.

Затем, когда гирька, скрывшись из глаз, бултыхнула далеко за пароходом, в воду, боцман вставил оставшийся у него в руке свободный конец с крючком в заднюю стенку инструмента.

– Что это такое? – спросила Травина.

– Лаг! – сердито ответил боцман. Но, обернувшись и увидев ее милое детское лицо, он добавил мягче:

– Это лаг, барышня. Стало быть, перо в воде вертится, потому как с крыльями, стало быть, и лаглинь вертится. А тут вот жубчатки и стрелка. Мы, стало быть, смотрим на стрелку и знаем, сколько узлов прошли. Потому как этот берег скроем, а тот откроем только утром. Это у нас называется лаг, барышня.

Елена была уже два года замужем, но ее очень часто называли барышней, что иногда льстило ей, а иногда причиняло досаду. Она и в самом деле была похожа на восемнадцатилетнюю девушку со своей тонкой, гибкой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами, в простом костюме из белой, чуть желтоватой шершавой кавказской материи, в простой английской соломенной шляпе с черной бархаткой.

Помощник капитана, коренастый, широкогрудый, толстоногий молодой брюнет в белом коротком кителе с золотыми пуговицами, проверял билеты. Елена за- метила его, еще входя на пароход. Он тогда стоял на палубе по одну сторону сходни, а по другую стоял юнга, ученик мореходных классов, тонкий, ловкий и стройный в своей матросской курточке мальчишка, подвижной, как молодая обезьянка. Они оба- провожали глазами всех подымавшихся женщин и делали за их спинами друг другу веселые гримасы, кивая головами, дергая бровями в их сторону и прищуривая один глаз. Елена еще издали заметила это. Она до дрожи отвращения ненавидела такие восточные красивые лица, как у этого помощника капитана, очевидно, грека, с толстыми, почти не закрывающимися, какими-то оголенными губами, с подбородком, синим от бритья и сильной растительности, с тоненькими усами колечком, с глазами черно-коричневыми, как пережженные кофейные зерна, и притом всегда томными, точно в любовном экстазе, и многозначительно бессмысленными. Но она также считала для себя унижительным проходить в таких случаях мимо незнакомых мужчин, опустив глаза, краснея и делая вид, что ничего не замечает. И потому, когда Елена переступила со сходни на палубу и ей загрозили дорогу – с одной стороны этот самый моряк, а с другой толстая старая женщина с кульками в обеих руках, которая,

задохнувшись от подъема, толклась и переваливалась на одном месте, она равнодушно поглядела на победоносного брюнета и сказала, как говорят нерасторопной прислуге:

– Потрудитесь посторониться.

И она с удовольствием увидела, как игривая молодцеватость мгновенно слиняла с его лица от ее уверенного пренебрежительного тона и как он суетливо, без всякого ломанья, отскочил в сторону.

Теперь он подошел к Елене, которая стояла, прислонившись к борту, и, возвращая ей билет, нарочно – это она сразу поняла – прикоснулся горячей щекочущей кожей своих пальцев к ее ладони и задержал руку, может быть, только на четверть секунды дольше, чем это было нужно. И, переведя глаза с ее обручального кольца на ее лицо и искательно улыбаясь, он спросил с вежливостью, которая должна была быть светской:

– Виноват-с. Вы, кажется, с супругом изволите ехать?

– Нет, я одна, – ответила Елена и отвернулась от него к борту, лицом в море.

Но в этот момент у нее слегка закружилась голова, потому что палуба под ее ногами вдруг показалась ей странно неустойчивой, а собственное тело необыкновенно легким. Она села на край скамейки.

Город едва белел вдали в золотисто-пыльном сиянии, и теперь уже нельзя было себе представить, что он стоит на горе. Налево плоско тянулся и пропадал в море низкий, чуть розоватый берег.

III

Помощник капитана несколько раз проходил мимо нее, сначала один, потом со своим товарищем, тоже моряком, в кителе с золотыми пуговицами. И хотя она не глядела на него, но каждый раз каким-то боковым чутьем видела, как он закручивал усы и подолгу оглядывал ее тающим бараньим взглядом черных глаз. Она даже услышала раз его слова, сказанные, наверное, в расчете, чтобы она услышала:

– Черт! Вот это женщина! Это я понимаю!

– Да-а, бабец! – сказал другой.

Она встала, чтобы переменить место и сесть напротив, но ноги плохо ее слушались, и ее понесло вдруг вбок, к запасному компасу, обмотанному парусиной. Она еле-еле успела удержаться за него. Тут только она заметила, что началась настоящая, ощутимая качка. Она с трудом добралась до скамейки на противоположном борту и упала на нее.

Стемнело. На самом верху мачты вспыхнул одинокий желтый электрический свет, и тотчас же на всем пароходе зажглись лампочки. Стеклободная будка над салоном первого класса и курительная комната тепло и уютно засияли огнями. На палубе сразу точно сделалось прохладнее. Сильный ветер дул с той стороны, где сидела Елена, мелкие соленые брызги изредка долетали до ее лица и прикасались к губам, но вставать ей не хотелось.

Мучительное, долгое, тянущее чувство какой-то отвратительной щеколки начиналось у нее в груди и в животе, и от него холодел лоб и во рту набиралась жидкая щиплющая слюна. Палуба медленно-медленно поднималась передним концом кверху, останавливалась на секунду в колеблющемся равновесии и вдруг, дрогнув, начинала опускаться вниз все быстрее и быстрее, и вот, точно шлепнувшись о воду, шла опять вверх. Казалось, она дышала – то распухая, то опадая, и в зависимости от этих движений Елена ощущала, как ее тело то становилось тяжелым и приплюскивалось к скамейке, то вслед затем приобретало необычайную, противную легкость и неустойчивость. И эта чередующаяся перемена была болезненнее всего, что Елене приходилось испытывать в жизни.

Город и берег давно уже скрылись из виду. Глаз свободно, не встречая препятствий, охватывал кругообразную черту, замыкавшую небо и море. Вдали бежали неровными грядами белые барашки, а внизу, около парохода, вода раскачивалась взад и вперед длинными скользкими ямами и, взмывая наверх, заворачивалась белыми пенными раковинами.

– Пардон, мадам, – услышала Елена над собою голос.

Она оглянулась и увидела все того же черномазого помощника капитана. Он глядел на нее сладкими, тающими, закатывающимися глазами и говорил:

– Извините, если я вам позволю дать совет. Не глядите вниз, это гораздо хуже, от этого

происходит кружение головы. Лучше всего глядеть на какую-нибудь неподвижную точку. Например, на звезду. А лучше бы всего вам лечь.

– Благодарю вас, мне ничего не нужно, – сказала Елена, отвернувшись от него.

Но он не уходил и продолжал заискивающим, изнеженным голосом, в котором слышался привычный тон пароходного соблазнителя:

– Вы меня простите, пожалуйста, что я так подошел к вам, не имея чести... Но мне необыкновенно знакома ваша личность. Позвольте узнать, вы не ехали ли прошлым рейсом с нами до Одессы? Э-э-э... можно – Вы меня простите, пожалуйста, что я так подошел к вам, не имея чести... Но мне необыкновенно знакома ваша личность. Позвольте узнать, вы не ехали ли прошлым рейсом с нами – до Одессы? Э-э-э... можно присесть?

– Благодарю вас, – сказала она, подымаясь с места и не глядя на него. – Вы очень заботливы, но предупреждаю вас: если вы еще хоть один раз попытаете предложить мне ваши советы или услуги, я тотчас же по приезде в Севастополь телеграфирую Василию Эдуардовичу, чтобы вас немедленно убрали из Русского общества пароходства и торговли. Слышали?

Она назвала первое попавшееся на язык имя и отчество. Это был старый, уморительный прием, «трюк», которым когда-то спасся один из ее друзей от преследования сыщика. Теперь она употребила его почти бессознательно, и это подействовало ошеломляющим образом на первобытный ум грека. Он поспешно вскочил со скамейки, приподнял над головой белую фуражку, и даже при слабом свете, падавшем сквозь стекла над салоном, она увидела, как он быстро и густо покраснел.

– Ради бога... Не истолкуйте превратно... Честное слово... Вы, может быть, подумали? Ей-богу...

Но в эту секунду палуба, начавшая скользить вниз, вдруг круто качнулась вбок, налево, и Елена, наверно, упала бы, если бы моряк вовремя ловко и деликатно не подхватил ее за талию. В этом объятии не было ничего умышленного, и она сказала ему несколько мягче:

– Благодарю вас, но только оставьте меня. Мне нехорошо.

Он приложил руку к козырьку, сказал по-морскому: «Есть!» – и поспешно ушел.

Елена забралась с ногами на скамейку, положила локти на буковые перила и, угнездив между ними голову, закрыла глаза. Моряк вдруг стал в ее глазах ничуть не опасным, а смешным и жалким трусом. Ей вспомнились какие-то глупые куплеты о пароходном капитане, которые пел ее брат, студент Аркадий – «сумасшедший студент», как его звали в семье. Там что-то говорилось о даме, плывшей на пароходе в Одессу, о внезапно поднявшейся буре и морской болезни.

Но. кап-питан любезный был,
В каюту пригласил,
Он лечь в постель мне дал совет
И расстегнуть корсет...
Шик, блеск, иммер элеган...

Ей уже вспомнился мотив и серьезное длинное лицо Аркадия, произносившего говорком дурацкие слова. В другое время она рассмеялась бы воспоминанию, но теперь ей было все равно, все в мире для нее было как-то скучно, неинтересно, вяло. Чтобы испытать себя, она нарочно подумала о Васютинском и его кружке, о муже, о приятной работе для него на ремингтоне, старалась представить давножданную радость свидания с ним, которая казалась такой яркой и сладостной там, на берегу, – нет, все выходило каким-то серым, далеким, равнодушным, не трогающим сердца. Во всем ее теле и в сознании осталось только тягучее, раздражающее, расслабленное состояние полуобморока. Ее кожа с ног до головы обливалась липким холодным потом. Невозможно было сжать влажных, замиравших пальцев в кулак – так они обмякли и обессилели. Казалось, что вот-вот сейчас наступит полный обморок и забвение. Она ждала этого и боялась.

Но вдруг в глазах ее стало мутно и зелено, раздражающая щекотка подступила к горлу, сердце бессильно затрепыхалось где-то глубоко внизу, в животе. Елена едва успела вскочить и наклониться над бортом.

На минуту ей стало как будто легче.

– Вы бы лучше походили, сударыня, – сказал ей участливо тот самый старичок, которого Васютинский задел цветами по шляпе.

Он сидел на соседней скамье и видел, как Елене сделалось дурно.

– Вы походите по воздуху и старайтесь дышать как можно реже и глубже. Это помогает.

Но она только покачала отрицательно головой и опять, улегшись лицом на локоть, закрыла глаза.

Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь – темная, облачная. Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь – темная, облачная, безлунная и ветреная. Пароход валяло с носа на корму и с боку на бок. Шел мелкий косой дождь. На палубе было пусто, только в проходах у стен рубок, куда не достигали брызги, лежали спящие люди.

За левым бортом в бесконечно далекой черноте ночи, точно на краю света, загорелась вдруг яркая, белая, светящаяся точка маяка; продержавшись с секунду, она мгновенно гасла, а через несколько секунд опять вспыхивала, и опять гасла, и опять вспыхивала через точные промежутки. Смутное нежное чувство прикоснулось вдруг к душе Елены.

«Вот, – подумала юна, – где-то в одиночестве, на пустынном мысе, среди ночи и бури, сидит человек и следит внимательно за этими вспышками огня, и, может быть, вот сейчас, когда я думаю о нем, может «Вот, – подумала юна, – где-то в одиночестве, на пустынном мысе, среди ночи и бури, сидит человек и следит внимательно за этими вспышками огня, и, может быть, вот сейчас, когда я думаю о нем, может быть, и он мечтает о сердце, которое в это мгновение за много верст на невидимом пароходе думает о нем с благодарностью».

И ей припомнилось, как прошлой зимой ее и ее мужа вез со станции Тумы самонадеянный рязанский мальчишка. Была ночь и вьюга. Не прошло и получаса, как мальчишка потерял дорогу, и они втроем кружили по какому-то дикому сугробному полю, перерезанному канавами, возвращаясь на свои следы, только что прорытые в целине. Кругом, куда бы ни глядел глаз, была одна и та же тусклая, мертвая, белесая муть, в которой сливались однотонно снег и небо. Когда лошадь попадала в канавы, всем троим приходилось вылезать из саней и идти по пояс в снегу. Ноги у Елены окоченели и уже начали терять чувствительность.

Тихое беззлостное отчаяние овладело ею. Муж молчал, боясь заразить ее своей тревогой. Мальчишка на козлах уже больше не дергал веревочными вожжами и не чмокал на лошадь. Она шла покорным шагом, низко опустив голову.

И вдруг мальчишка закричал радостно:

– Вёшка!

Елена сначала ничего не поняла, так как была впервые в такой глубокой деревенской глуши. Но когда она увидела большую сосновую ветку, торчавшую из снега, и другую ветку, смутно темневшую вдали сквозь ночную серую муть, и когда она узнала, что таким порядком мужики обозначают дорогу на случай метели, – она почувствовала теплое, благодарное умиление. Кто-то, кого она, вероятно, ни разу в жизни не увидит и не услышит, шел днем вдоль этой-дороги и заботливо втыкал налево и направо эти первобытные маяки. Пусть он даже вовсе не думал тогда о заблудившихся путниках, как, может быть, не думает теперь сторож маяка о признательности женщины, сидящей на борту парохода и глядящей на вспышки далекого белого огня, – но как радостно сблизить в мыслях две души, из которых одна оставила за собою бережный, нежный и бескорыстный след, а другая принимает этот дар с бесконечной любовью и преклонением.

И она с восторгом подумала о великих словах, о глубоких мыслях, о бессмертных книгах, оставленных потомству: «Разве это не те же вешки на загадочном пути человечества?»

Знакомый старый красноносый боцман в клеенчатом желтом пальто, с надвинутым на голову капюшоном, с маленьким фонариком в руке, торопливо пробежал по палубе к лагу и нагнулся над ним, осветив го циферблат. На обратном пути он узнал Елену и остановился около нее.

– Не спите, барышня? Закачало? Здесь всегда так. Тарханкут. Самое поганое место.

– Почему?

– Н-ну! Тут сколько авариев было. С одной стороны мыс, а с другой вода кружится, как в котле. Остается только узенькое место. Вот тут и угадайте. Вот как раз, где мы сейчас идем, тут «Владимир» пошел ко дну, когда его «Колумбия» саданула в бок. Так и покатился вниз. И не нашли... Здесь ямища сажен в четыреста...

Наверху на капитанском мостике засвистали. Боцман рванулся было туда, но остановился и добавил торопливо:

– Эх, вижу я, барышня, мутит вас. Нехорошо это. А вы, знаете, лимончик пососите. А то раскиснете. Да.

Елена встала и пошла по палубе, стараясь все время держаться руками за борта и за ручки дверей. Так она дошла до палубы третьего класса. Тут всюду в проходах, на брезенте, покрывавшем люк, на ящиках и тюках, почти навалившись друг на друга, лежали, спутавшись в кучу, мужчины, женщины и дети.

Иногда на них падал свет лампочек, и их лица от нездорового сна и от мучений после морской болезни казались синевато-мертвенно-бледными.

Она пошла дальше. Ближе к носу парохода на свободном пространстве, разделенном пополам коновязью, стояли маленькие, хорошенькие лошадки с выхоленной шерстью и с подстриженными хвостами и гривами. Их везли в Севастополь в цирк. И жалко и трогательно, было видеть, как бедные умные животные стойко подавали тело то на передние, то на задние ноги, сопротивляясь качке, как они прищуривали уши и косили недоумевающими глазами назад, на бушующее море.

Затем она сошла вниз по крутой железной лестнице во второй класс. Там заняты были все места; даже в обеденной зале на диванах, шедших вдоль по стенам, лежали одетыми бледные, стонущие люди.

Морская болезнь всех уравнивала и заставила забыть все приличия. И часто нога еврейского комиссионера со сползающим башмаком и грязным бельем, выглядывавшим из-под панталон, почти касалась головы красивой, нарядной женщины.

Но в спертom воздухе закрытого со всех сторон помещения так отвратительно пахло людьми, человеческим сонным дыханием, запахом извергнутой пищи, что Елена тотчас же быстро поднялась наверх, едва удерживая. Но в спертom воздухе закрытого со всех сторон помещения так отвратительно пахло людьми, человеческим сонным дыханием, запахом извергнутой пищи, что Елена тотчас же быстро поднялась наверх, едва удерживая приступ тошноты.

Теперь качка стала еще сильнее. Каждый раз, когда нос корабля, взобравшись на волну и на мгновение задержавшись на ней, вдруг решительно, с возрастающей скоростью врывался в воду, Елена слышала, как его борта с уханьем погружались в море и как шипели вокруг него точно рассерженные волны.

И опять зеленая противная муть поплыла перед ее глазами. Лбу стало холодно, и тошно-томительное ощущение обморока овладело ее телом и всем ее существом. Она нагнулась над бортом, думая, как давеча, получить облегчение, но она видела только темное, тяжелое пространство внизу и на нем белые волны, то возникающие, то тающие.

Состояние ее было настолько мучительно, что она невольно подумала о том, что если бы была возможность как-нибудь вдруг, сейчас же умереть, не сходя с места, лишь бы окончилось это ощущение медленного и отвратительного умирания, то она согласилась бы с равнодушной усталостью. Но не было возможности самой прекратить это насильственно, потому что не было ни воли, ни желания.

V

К ней подходил все тот же помощник капитана. Теперь он с почтительным видом остановился довольно далеко от нее, расставя ноги для устойчивости, балансируя движениями тела при качке.

– Ради бога, не рассердитесь, не растолкуйте превратно моих слов, – сказал он вежливо, но просто. – Мне так было тяжело и прискорбно, что вы придали недавно какой-то нехороший смысл... Впрочем, может быть, я сам в этом виноват, я не спорю, но я, право, не могу видеть, как вы мучитесь. Ради бога, не отказывайтесь от моей услуги. Я до утра стою на вахте. Моя каюта

остается совершенно свободной. Не побрезгуйте, прошу вас. Там чистое белье... все, что угодно. Я пришлю горничную... Позвольте мне помочь вам.

Она ничего не ответила, но мысль о возможности протянуться свободно на удобной, покойной кровати и полежать одной, неподвижно, хоть полчаса, показалась ей необыкновенно приятной, почти радостной. Теперь она уже не находила никаких возражений против фатовской наружности капитана и против его предложения.

– Прошу вас, дайте мне руку, я проведу вас, – говорил помощник капитана с мягкой ласковостью. – Я пришлю вам горничную, у вас будет ключ, вы можете раздеться, если вам угодно.

У этого грека был приятный голос, звучавший необыкновенно искренно и почтительно, именно в таком тоне, не возбуждающем никаких сомнений, как умеют лгать женщинам опытные женолюбцы и сладострастники, имевшие в своей жизни множество легких, веселых минутных связей. К тому же воля Елены совершенно угасла, растаяла от ужасных приступов морской болезни.

– Ах, если бы вы знали, как мне тяжело! – с трудом выговорила она, почти не двигая холодными, помертвевшими губами.

– Идемте, идемте, – сказал он ласково и как-то трогательно, по-братски, помог ей подняться со скамейки, поддерживая ее.

Она не сопротивлялась.

Каюта помощника капитана была очень мала, в ней с трудом помещались кровать и маленький письменный стол, между которых едва можно было втиснуть раскладную ковровую табуретку. Но все было щегольски чисто, ново и даже кокетливо. Плюшевое тигровое одеяло на кровати было наполовину открыто, свежее белье, без единой складочки, прельщало глаз сладостной белизной.

Электрическая лампочка в хрустальном колпачке мягко светила из-под зеленого абажура. Около зеркала на складном умывальнике красного дерева стоял флакончик с ландышами и нарциссами.

– И вот пожалуйста... Ради бога, – говорил помощник капитана, избегая глядеть на Елену. – Будьте как дома, здесь вы все найдете нужное для туалета. Мой дом – ваш дом. Это наша морская обязанность – оказывать услуги прекрасному полу.

Он рассмеялся с таким видом, который должен был показать, что последние слова – не более, как милая, дружеская шутка, сказанная небрежно и даже грубовато-простым и сердечным малым.

– Итак, не бойтесь, пожалуйста, – сказал он и вышел.

Только раз, на одно мгновение, поворачиваясь в дверях, он взглянул на Елену, и даже не в ее глаза, а куда-то повыше, туда, где у нее начинались пышною волной тонкие золотистые волосы.

Какая-то инстинктивная боязнь, какой-то остаток благоразумной осторожности вдруг встревожил Елену, но в этот момент пол каюты особенно сильно поднялся и точно покатился вбок, и тотчас же прежняя зеленая муть понеслась перед глазами женщины и тяжело заныло в груди предобморочное чувство. Забыв о своем мгновенном предчувствии, она села на кровать и схватилась рукой за ее спинку.

Когда ее немного отпустило, она покрыла кровать одеялом, расстегнула кнопки кофточки, крючки лифа и непослушные крючки низкого мягкого корсета, который сдавливал ее живот. Затем она с наслаждением легла на спину, опустив голову глубоко в подушки и спокойно протянув усталые ноги.

Ей сразу стало до счастья легко.

«Отдохну совсем и потом разденусь», – подумала она с удовольствием.

Она закрыла глаза. Сквозь опущенные веки свет лампочки приятным розовым светом ласкал глаза. Теперь покачивания парохода уже не были так мучительны.

Она чувствовала, что пройдет еще немного минут, и качка успокоит ее и смежит ей глаза легким, освежающим сном. Нужно было только лишь не шевелиться. Но в дверь постучали. Она вспомнила, что не успела запереть дверь, и смутилась. Но это могла быть горничная. Приподнявшись на кровати, она крикнула:

– Войдите!

Вошел помощник капитана, и вдруг ясное ощущение надвигающегося ужаса потрясло

Елену. Голова у моряка была наклонена вниз, он не глядел на Елену, но у него двигались ноздри, и она даже услышала, как он коротко и глубоко дышал.

– Прошу извинения, я здесь забыл журнал, – сказал он глухо.

Он пошарил на столе, стоя спиной к Елене и нагнувшись. У нее мелькнула мысль – встать и тотчас же уйти из каюты, но он, точно угадывая и предупреждая ее мысль, вдруг гибким, чисто звериным движением, в один прыжок подскочил к двери и запер ее двумя оборотами ключа.

– Что вы делаете! – крикнула Елена и беспомощно, по-детски, всплеснула руками.

Он мягким, но необыкновенно сильным движением усадил ее на кровать и уселся с нею рядом. Дрожащими руками он взялся за ее кофточку спереди и стал ее раскрывать. Руки его были горячи, и точно какая-то нервная, страстно возбужденная сила истекала из них. Он дышал тяжело и даже с хрипом, и на его покрасневшем лице вздулись вверх от переносицы две расходящиеся ижицей жилы.

– Дорогая моя... – говорил он отрывисто, и в голосе его слышалась мучительная, слепая, томная страсть. – Дорогая... Я хочу вам помочь... вместо горничной... Нет! Нет!.. Не подумайте чего-нибудь дурного... Какая у вас грудь... Какое тело...

Он положил ей на обнаженную грудь горячую, воспаленную голову и лепетал, как в забытьи:

– Надо совсем расстегнуться, тогда будет лучше. Ради бога, не думайте, что я чего-нибудь... Одна минута... Только одна минута... Ведь никто не узнает... Вы испытаете блаженство... Вам будет приятно... Никто никогда не узнает... Это предрассудки.

Она отталкивала его, упиралась руками ему в грудь, в голову и говорила с отвращением:

– Пустите меня, гадина... Животное... Подлец... Ко мне никто не смел прикасаться так.

В ужасе и гневe она начала кричать без слов, пронзительно, но он своими толстыми, открытыми и мокрыми губами зажал ей рот. Она барахталась, кусала его губы, и когда ей удавалось на секунду отстранить свое лицо, кричала и плевалась. И вдруг опять томительное, противное, предсмертное ощущение обморока обессилило ее. Руки и ноги сделались вялыми, как и все ее тело.

– Господи, что вы со мною сделали! – сказала она тихо. – Вы сделали хуже, чем убийство. Боже мой! Боже мой!

В эту минуту постучали в дверь. Моряк, все еще сопя, отпер, и в каюту вошел тот веселый, похожий на ловкую обезьянку, юнга, которого видела Елена днем около сходни.

– Боже мой! Боже мой! Боже мой! – сказала женщина, закрыв лицо руками.

VI

Наступило утро. В то время, когда разгружали людей и тюки в Евпатории, Елена проснулась на верхней палубе от легкой сырости утреннего тумана. Море было спокойно и ласково. Сквозь туман розовело солнце. Наступило утро. В то время, когда разгружали людей и тюки в Евпатории, Елена проснулась на верхней палубе от легкой сырости утреннего тумана. Море было спокойно и ласково. Сквозь туман розовело солнце. Дальняя плоская черта берега чуть желтела впереди.

Только теперь, когда постепенно вернулось к ней застланное сном сознание, она глубоко охватила умом весь ужас и позор прошедшей ночи. Она вспомнила помощника капитана, потом юнгу, потом опять помощника капитана. Вспомнила, как грубо, с нескрываемым отвращением низменного, пресытившегося человека выпроваживал ее этот красавец грек из своей каюты. И это воспоминание было тяжелей всего.

На три часа пароход задержался в Севастополе, пока длинные послушные хоботы лебедек выгружали и нагружали тюки, бочки, связки железных брусьев, какие-то мраморные доски и мешки. Туман рассеялся. Прелестная круглая бухта, окаймленная желтыми берегами, лежала неподвижно. Проворные белые и черные катеры легко бороздили ее поверхность. Быстро проносились белые лодки военного флота с Андреевским косым крестом на корме. Матросы с обнаженными шеями все, как один, далеко откидывались назад, выбрасывая весла из воды.

Елена сошла на берег и, сама не зная для чего, объехала город на электрическом трамвае. Весь гористый, каменный белый город казался пустым, вымирающим, и можно было подумать, что никто в нем не живет, кроме морских офицеров, матросов и солдат, – точно он был завоеван.

Она посидела немного в городском саду, равнодушно глядя на его газоны, пальмы и подрезанные кусты, равнодушно слушая музыку, игравшую в ротонде. Потом она вернулась на пароход.

В час дня пароход отвалил. Только тогда, после общего завтрака, Елена потихоньку, точно крадучись, спустилась в салон. Какое-то унижительное чувство, против ее воли, заставляло ее избегать общества и быть в одиночестве. И для того чтобы выйти на палубу после завтрака, ей пришлось сделать над собой громадное усилие. До самой Ялты она просидела у борта, облокотившись лицом на его перила.

Низкий желтый песчаный берег постепенно начал возвышаться, и на нем запестрели редкие темные кусты зелени. Кто-то из пассажиров сидел рядом с Еленой и по книжке путеводителя рассказывал, нарочно громко, чтобы его слышали кругом, о тех местах, которые шли навстречу пароходу, и она без всякого участия, подавленная кошмарным ужасом вчерашнего, чувствуя себя с ног до головы точно вываленной в вонючей грязи, со скукою глядела, как разворачивались перед нею прекрасные места Крымского полуострова. Проплыл мыс Фиолент, красный, крутой, с заострившимися глыбами, готовыми вот-вот сорваться море. Когда-то там стоял храм кровожадной богини – ей приносились человеческие жертвы, и тела пленников сбрасывали вниз с обрыва. Прошла Балаклава с едва заметными силуэтами разрушенной генуэзской башни на горе, мохнатый мыс Айя, кудрявый Ласпи, Форос византийской церковью, стоящей высоко, точно на подносе, с Байдарскими воротами, венчающими гору.

А там потянулись среди густой зелени садов и парков между зигзагами белой дороги-белые дачи, богатые виллы, горные татарские деревушки с плоскими крышами. Море нежно стлалось вокруг парохода; в воде играли дельфины.

Крепко, свежо и радостно пахло морским воздухом. Но ничто не радовало глаз Елены. У нее было такое чувство, точно не люди, а какое-то высшее, всемогущее, злобное и насмешливое существо вдруг нелепо взяло и опоганило ее тело, осквернило ее мысли, ломало ее гордость и навеки лишило ее спокойной, доверчивой радости жизни. Она сама не знала, что ей делать, и думала об этом так же вяло и безразлично, как глядела она на берег, на небо, на море.

Теперь публика вся толпилась на левом борту. Однажды мельком Елена увидела помощника капитана в толпе. Он быстро скользнул от нее глазами прочь, трусливо повернулся и скрылся за рубкой. Но не только в его быстром взгляде, а даже в том, как под белым кителем он судорожно передернул спиною, она прочла глубокое брезгливое отвращение к ней. И она тотчас же почувствовала себя на веки вечные, до самого конца жизни, связанной с ним и совершенно равной ему.

Прошли Алупку с ее широким зеленоватым, мавританского стиля, дворцом и с роскошным парком, весь зеленый, кудрявый Мисхор, белый, точно выточенный из сахара, Дюльбер и «Ласточкино гнездо» – красный безобразный дом с башней, прилепившейся на самом краю отвесной скалы, падающей в море.

Подходили к Ялте. Теперь вся палуба была занята поклажею. Нельзя было повернуться. В том стадном стремлении, которое всегда охватывает людей на пароходах, на железных дорогах и на вокзалах перед осадкой и высадкой, пассажиры стали торопливы и недоброжелательны друг к другу. Елену часто толкали, наступали ей на ноги и на платье. Она не оборачивалась. Теперь ей начинало становиться страшно перед мужем. Она не могла себе представить, как произойдет их встреча, что она будет говорить ему? Хватит ли решимости у нее сказать ему все? Что он сделает? Простит? Рассердится? Пожалеет или оттолкнет ее, как привычную обманщицу и распутницу?

Каждый раз, представляя себе тот момент, когда она решится, наконец, развернуть перед ним свою бедную, оплеванную душу, она бледнела и, закрывая глаза, глубоко набирала в грудь воздух.

Густой парк Ореанды, благородные развалины Мраморного дворца, красный дворец Ливадии, правильные ряды виноградника на горах, и вот, наконец., включенный в подкову гор, веселый, пестрый, амфитеатр Ялты, золотые купола собора, тонкие, стройные, темные кипарисы, похожие на черные узкие веретена, каменная набережная и на ней, точно игрушечные, люди, лошади и экипажи.

Медленно и осторожно повернувшись на одном месте, пароход боком причалил к пристани. Тотчас же масса людей, в грубой овечьей подражательности, ринулась с парохода по сходне

на берег, давя, толкая и тиская друг друга. Глубокое отвращение почувствовала Елена, ко всем этим красным мужским затылкам, к растерянным, злым, пудренным впопыхах женским лицам, потным рукам, изогнутым угрожающе-локтям. Казалось ей, что в каждом из этих озверевших без нужды людях сидело то же самое животное, которое вчера раздавило ее.

Только тогда, когда пассажиры отхлынули и палуба стала свободна, она подошла к борту и тотчас же увидела мужа. И вдруг все в нем: синяя шелковая косоворотка, подтянутая широким кушаком, и панталоны навывпуск, белая широкополая войлочная шляпа, которую тогда носили поголовно все социал-демократы, его маленький рост, круглый животик, золотые очки, прищуренные глаза, напряженная от солнечных лучей гримаса вокруг рта, – все в нем вдруг показалось ей бесконечно знакомым и в то же время почему-то враждебным и неприятным. У нее мелькнуло сожаление, зачем она не телеграфировала из Севастополя, что уезжает навсегда: так просто написать бы, без всякого объяснения причин.

Но он уже увидел ее издали и размахивал шляпой и высоко поднятой палкой.

VII

Поздно ночью она встала со своей постели, которая отделялась от его постели ночным столиком и, не зажигая света, села у него в ногах и слегка прикоснулась к нему. Он тотчас же приподнялся и прошептал с испугом:

– Что с тобой, Елочка? Что ты?

Он был смущен и тяжело обеспокоен ее сегодняшним напряженным молчанием, и, хотя она ссылалась на головную боль от морской болезни, он чувствовал за ее словами какое-то горе или тайну. Днем он не пристаивал к ней с расспросами, думая, что время само покажет и объяснит. Но и теперь, когда он не перешел еще от сна к пошлой мудрости жизни, он безошибочно, где-то в самых темных глубинах души, почувствовал, что сейчас произойдет нечто грубое, страшное, не повторяющееся никогда вторично в жизни.

Оба окна были открыты настежь. Сладостно, до щеколки, пахло невидимыми глициниями. В городском саду играл струнный оркестр, и звуки его казались прекрасными и печальными.

– Сергей, выслушай меня, – сказала Елена. – Нет, нет, не зажигай свечу, – прибавила она торопливо, услышав, что он затарахтел коробкою со спичками. – Так будет лучше... без огня... То, что я тебе скажу, будет необычайно и невыносимо тяжело для тебя, но я не могу иначе, и я должна испытать тебя... Прости меня!

Она едва видела его в темноте по белой рубашке. Он ощупью отыскивал стакан и графин, и она слышала, как дрожало стекло о стекло. Она слышала, как большими, громкими глотками пил он воду.

– Говори, Елочка, – сказал он шепотом.

– Послушай! Скажи мне, что бы ты сделал или сказал; если бы я пришла к тебе и сказала: «Милый Сергей, вот я, твоя жена, которая никого не* любила, кроме тебя, никого не полюбит, кроме тебя, и я сегодня изменила тебе. Пойми меня, изменила совсем, до того последнего предела, который только возможен между мужчиною и женщиною». Нет, не торопись отвечать мне. Изменила не тайком, не скрываючись, а нехотя, во власти обстоятельств... Ну, предположи... каприз истерической натуры, необыкновенную, неудержимую похоть, ну, наконец, насилие со стороны пьяного человека... какого-нибудь пехотного офицера... Милый Сергей, не делай никаких отговорок и отклонений, не останавливай меня, а отвечай мне прямо. И помни, что, сделав это, я ни на одну секунду не переставала любить тебя больше всего, что мне дорого.

Он помолчал, повозился немного на постели, отыскивал ее руку, хотел пожать ее, но она отняла руку.

– Елочка, ты испугала меня, я не знаю, что тебе сказать, я положительно не знаю. Ведь если ты полюбила бы другого, ведь ты сказала бы мне, ведь ты не стала бы меня обманывать, ты пришла бы ко мне и сказала: «Сергей! Мы оба свободные и честные люди, я перестала любить тебя, я люблю другого, прости меня – и расстанемся». И я поцеловал бы твою руку на прощанье и сказал бы: «Благодарю тебя за все, что ты мне дала, благословляю твое имя, позволь мне только сохранить твою дружбу».

– Нет! Нет... не то... совсем не то... Не полюбила, а просто грубо изменила тебе. Изменила потому, что не могла не изменить, потому что не была виновата.

– Но он тебе нравился? Ты испытала сладость любви?

– Ах, нет, нет! Сергей, все время отвращение, глубокое, невероятное отвращение. Ну, вот скажи, например, если бы меня изнасиловали?

Он осторожно привлек ее к себе, – она теперь не сопротивлялась. Он говорил:

– Милая Елочка, зачем об этом думать? Это все равно, если бы ты спросила меня, разлюблю ли я тебя, если вдруг оспа обезобразит твоё лицо или железнодорожный поезд отрежет тебе ногу. Так и это. Если тебя изнасиловал какой-нибудь негодяй, – господи, что не возможно в нашей современной жизни! – я взял бы тебя, положил твою голову себе на грудь, вот как я делаю сейчас, и сказал бы: «Милое мое, обиженное, бедное дитя, вот я жалею тебя как муж, как брат, как единственный друг и смываю с твоего сердца позор моим поцелуем».

Долго они молчали, потом Сергей заговорил:

– Расскажи мне все! И она начала так:

– Предположи себе... Но помни, Сергей, что это только предположение... Если бы ночью на пароходе меня схватил неудержимый приступ морской болезни...

И она подробно, не выпуская ни одной мелочи, рассказала ему все, что было с ней прошлой ночью. Рассказала даже о том потрясающем и теперь бесконечно мучительном для нее ощущении, которое овладело ею в присутствии молодого юнги. Но она все время вставляла в свою речь слова: «Слышишь, это только предположение! Ты не думай, что это было, это только предположение. Я выдумываю самое худшее, на что способно мое воображение».

И когда она замолчала, он сказал тихо и почти торжественно:

– Так это было? Было? Но ни судить тебя, ни прощать тебя я не имею права. Ты виновата в этом столько же, сколько в дурном, нелепом сне, который приснился тебе. Дай мне твою руку!

И, поцеловав ее руку, он спросил ее еле слышно:

– Так это было, Елочка?

– Да, мой милый. Я так несчастна, так глубоко несчастна. Благодарю тебя за то, что ты утешил меня, не разбил моего сердца. За эту одну минуту я не знаю, чем я отблагодарю тебя в жизни!

И вот, с горькими и радостными слезами, она прижалась к его груди, рыдая и сотрясаясь голыми плечами науками и смачивая его рубашку. Он бережно, медленно, ласково гладил по ее волосам рукою.

– Ложись, милая, поспи, отдохни. Завтра ты проснешься бодрая, и все будет казаться, как давнишний сон.

Она легла. Прошло четверть часа. Расслабляюще, томно пахла глициния, сказочно-прекрасно звучал оркестр вдаль, но муж и жена не могли заснуть и лежали, боясь потревожить друг друга, с закрытыми глазами, стараясь не ворочаться, не вздыхать, не кашлять, и каждый понимал, что другой не спит.

Но вдруг он вскочил на кровати и произнес с испугом:

– Елочка! А ребенок? А вдруг ребенок?

Она помедлила и спросила беззвучно:

– Ты бы его возненавидел?

– Я его не возненавижу. Дети все прекрасны, я тебе сто раз говорил об этом и верю – не только словами, но всей душой, – что нет разницы в любви к своему или к чужому ребенку. Я всегда говорил, что исключительное материнское чувство – почти преступно, что женщина, которая, желая спасти своего ребенка от простой лихорадки, готова была бы с радостью на уничтожение сотни чужих, незнакомых ей детей, – что такая женщина ужасна, хотя она может быть прекрасной или, как говорят, «святой» матерью. Ребенок, который получился бы от тебя в таком случае, был бы моим ребенком, но, Елочка... Этот человек, вероятно, пережил в своей жизни тысячи подобных приключений. Он несомненно знаком со всеми постыдными болезнями... Почему знать... Может быть, он держит в своей крови наследственный алкоголизм... сифилис... В этом и есть весь ужас, Елочка.

Она ответила усталым голосом:

– Хорошо, я сделаю все, что ты захочешь.

И опять наступило молчание и длилось страшно долго.

Он заговорил робко:

– Я не хочу лгать, я должен признаться тебе, что только одно обстоятельство мучит меня,

что ты узнала радость, физическую радость любви не от меня, а от какого-то проходимца. Ах! Зачем это случилось? Если бы я взял тебя уже не девушкой, мне было бы это все равно, но это, это... милая, – голос его стал умоляющим и задрожал, – но ведь, может быть, этого не было? Ты хотела испытать меня?

Она нервно и вслух рассмеялась.

– Да неужели серьезно ты думаешь, что я могла тебе изменить? Конечно, я только испытывала тебя. Ну и довольно. Ты выдержал экзамен, теперь можешь спать спокойно и не мешай мне спать.

– Так это правда? Правда? Милая моя, обожаемая, прелестная Елочка. О, как я рад! Ха-ха, я-то, дурак, почти поверил тебе. Ничего не было, Елочка?

– Ничего, – ответила она довольно сухо.

Он повозился немного и заснул.

Но утром его разбудил какой-то шорох. К комнате было светло. Елена, бледная после бессонной ночи, похудевшая, с темными кругами вокруг глаз, с сухими, потрескавшимися губами, уже почти одетая, торопливо доканчивала свой туалет.

– Ты куда собралась, дорогая? – спросил он тревожно.

– Я сейчас вернусь, – ответила она, – у меня разболелась голова. Я пройдуся, а спать лягу после завтрака.

Он вспомнил вчерашнее и, протягивая к ней руки, сказал:

– Как ты меня испугала, моя милая, недобрая женушка. Если бы ты знала, что ты сделала с моим сердцем. Ведь такой ужас на всю жизнь остался бы между нами. Ни ты, ни я никогда не могли бы забыть его. Ведь это правда? Все это: помощник капитана, юнга, морская болезнь, все это – твои выдумки, не правда ли?

Она ответила спокойно, сама удивляясь тому, как она, гордая своей всегдашней правдивостью, могла лгать так естественно и легко.

– Конечно, выдумки. Просто одна дама рассказывала в каюте такой случай, который действительно был однажды на пароходе. Ее рассказ взволновал меня, и я так живо вообразила себя в положении этой женщины, и меня охватил такой ужас при мысли, что ты возненавидел бы меня, если бы я была на ее месте, то я совсем растерялась... Но, слава богу, теперь все прошло.

– Конечно, прошло, – подтвердил он, обрадованный и совершенно успокоенный. – Господи! Да, наконец, если бы это случилось, неужели ты стала бы хуже или ниже в моих глазах? Какие пустяки!

Она ушла. Он опять заснул и спал до десяти часов. В одиннадцать часов он уже начал беспокоиться ее отсутствием, а в полдень мальчишка из какой-то гостиницы, в шапке, обшитой галунами, со множеством золотых пуговиц на куртке, принес ему короткое письмо от Елены:

«С девятичасовым пароходом я уехала опять в Одессу. Не хочу скрывать от тебя того, что я еду к Васютинскому, и ты, конечно, поймешь, что я буду делать во всю мою остальную жизнь. Ты – единственный человек, которого я любила, и последний, потому что мужская любовь больше не существует для меня. Ты самый целомудренный и честный из всех людей, каких я только встречала. Но ты тоже оказался, как и все, маленьким, подозрительным собственником в любви, недоверчивым и унизительно-ревнивым. Несомненно, что мы с тобою рано или поздно встретимся в том деле, которое одно будет для меня смыслом жизни. Прошу тебя во имя нашей прежней любви: никаких расспросов, объяснений, упреков или попыток к сближению. Ты сам знаешь, что я не переменяю своих решений.

Конечно, весь рассказ о пароходе сплошная выдумка.

Елена.»

<1908>

Ученик

Большой, белый, двухэтажный американский пароход весело бежал вниз по Волге. Стояли жаркие, томные июльские дни. Половину дня публика проводила на западном наружном балконишке, а половину на восточном, в зависимости от того, какая сторона бывала в тени. Пассажиры садились и вылезали на промежуточных станциях, и в конце концов образовался постоянный состав путешественников, которые уже давно знали друг друга в лицо и порядочно друг другу надоели. Днем лениво занимались флиртом, покупали на пристанях землянику, вяленую волокнистую воблу, молоко, баранки и стерлядей, пахнувших керосином. В продолжение целого дня ели не переставая, как это всегда бывает на пароходах, где плавная тряска, свежий воздух, близость воды и скука чрезмерно развивают аппетит.

Вечером, когда становилось прохладнее, с берегов доносился на палубу запах скошенного сена и медвяных цветов, и когда от реки поднимался густой летний туман, все собирались в салон.

Худенькая барышня из Москвы, ученица консерватории, у которой резко выступали ключицы из-под низко вырезанной блузки, а глаза неестественно блестели и на щеках горели болезненные пятна, пела маленьким, но необыкновенно приятного тембра голосом романсы Даргомыжского. Потом немного спорили о внутренней политике.

Общим посмешищем и развлечением служил тридцатилетний симбирский помещик, розовый и гладкий, как йоркширский поросенок, с белокурыми волосами ежиком, с разинутым ртом, с громадным расстоянием от носа до верхней губы, с белыми ресницами и возмутительно белыми усами. От него веяло непосредственной черноземной глупостью, свежестью, наивностью и усердием. Он только что женился, приобрел ценз и получил место земского начальника. Все эти подробности, а также девическая фамилия его матери и фамилии всех людей, оказавших ему протекцию, были уже давно известны всему пароходу, включая сюда капитана и двух его помощников, и, кажется, даже палубной команде. Как представитель власти и член всероссийской дворянской семьи, он пересаливал в своем патриотизме и постоянно завирался. От Нижнего до Саратова он уже успел перестрелять и перевешать всех жидов, финляндцев, поляков, армяшек, малороссов и прочих инородцев.

Во время стоянок он выходил на палубу в своей фуражке с бархатным околышем и с двумя значками и, заложив руки в карманы брюк, обнаруживая толстый дворянский зад в серых панталонах, поглядывал, на всякий случай, начальственно на матросов, на разносчиков, на троечных ямщиков в круглых шляпах с павлиньими перьями. Жена его, тоненькая, изящная, некрасивая петербургская полудева, с очень бледным лицом и очень яркими, злыми губами, не препятствовала ему ни в чем, была молчалива, иногда при глупостях мужа улыбалась недоброй, тонкой усмешкой; большую часть дня сидела на солнечном припеке, с желтым французским романом в руках, с пледом на коленях, вытянув вдоль скамейки и скрестив маленькие породистые ножки в красных сафьяновых туфлях. Как-то невольно чувствовалась в ней карьеристка, будущая губернаторша или предводительша, очень может быть, что будущая губернская Мессалина. От нее всегда пахло помадой *сгème Simon* и какими-то модными духами – сладкими, острыми и терпкими, от которых хотелось чихать. Фамилия их была Кострецовы. Из постоянных пассажиров был еще артиллерийский полковник, добродушнейший человек, неряха и обжора, у которого полуседая щетина торчала на щеках и подбородке, а китель цвета хаки над толстым животом лоснился от всевозможных супов и соусов. Каждый день утром он спускался вниз в помещение повара и выбирал там стерлядку или севрюжку, которую ему приносили наверх в сачке, еще трепещущую, и он сам, священнодействуя, сопя и почмокивая, делал рыбе ножом на голове пометки во избежание поварской лукавости, чтобы не подали другую, дохлую.

Каждый вечер, после пения московской барышни и политических споров, полковник играл до поздней ночи в винт. Его постоянными партнерами были: акцизный надзиратель, ехавший в Асхабад, – человек совершенно неопределенных лет, сморщенный, со скверными зубами, помещанный на любительских спектаклях, – он недурно, бойко и весело рассказывал в промежутках игры, во время сдач, анекдоты из еврейского быта; редактор какой-то приволжской газеты, бородатый, низколобый, в золотых очках, и студент, по фамилии Држевецкий. Студент играл с постоянным счастьем. Он быстро разбирался в игре, великолепно помнил все назначения и ходы, относился к ошибкам партнеров с неизменяемым благодушием. Несмотря на сильные жары, он всегда был одет в застегнутый на все пуговицы зеленоватый сюртук с очень длинными лапами и

преувеличенно высоким воротником. Спинные лопатки были у него так сильно развиты, что он казался сутуловатым, даже при его высоком росте. Волосы у него были светлые и курчавые; голубые глаза, бритое длинное лицо: он немножко походил, судя по старинным портретам, на двадцатипятилетних генералов Отечественной войны 1812 года. Однако нечто странное было в его наружности. Иногда, когда он не следил за собою, его глаза принимали такое усталое, измученное выражение, что ему свободно можно было дать на вид даже и пятьдесят лет. Но ненаблюдательная пароходная публика этого, конечно, не замечала, как не замечали партнеры необыкновенной особенности его рук: большие пальцы у студента достигали по длине почти концов указательных, и все ногти на пальцах были коротки, широки, плоски и крепки. Эти руки с необыкновенной убедительностью свидетельствовали об упорной воле, о холодном, не знающем колебаний эгоизме и о способности к преступлению.

От Нижнего до Сызрани как-то в продолжение двух вечеров составлялись маленькие азартные игры. Играли в двадцать одно, железную дорогу, польский банчок. Студент выиграл что-то рублей около семидесяти. Но он это сделал так мило и потом так любезно предложил обыгранному им мелкому лесопромышленнику взаймы денег, что у всех получилось впечатление, что он богатый человек, хорошего общества и воспитания.

II

В Самаре пароход очень долго разгружался и нагружался. Студент съездил выкупаться и, вернувшись, сидел в капитанской рубке – вольность, которая разрешается только очень симпатичным пассажирам после долгого совместного плаванья. Он с особенным вниманием, пристально следил за тем, как на пароход взойшли порознь три еврея, все очень хорошо одетые, с перстнями на руках, с блестящими булавками в галстуках. Он успел заметить и то, что евреи делали вид, как будто они не знакомы друг с другом, и какую-то общую черту в наружности, как будто наложенную одинаковой профессией, и почти неуловимые знаки, которые они подавали друг другу издали. – Не знаете – кто это? – спросил он помощника капитана.

Помощник капитана, черненький, безусый мальчик, изображавший из себя в салоне старого морского волка, очень благоволил к студенту. Во время своих очередных вахт он рассказывал Држевецкому непристойные рассказы из своей прошлой жизни, говорил гнусности про всех женщин, находившихся на судне, а студент выслушивал его терпеливо и внимательно, хотя и несколько холодно.

– Эти? – переспросил помощник капитана. – Несомненно, комиссионеры. Должно быть, торгуют мукой или зерном. Да вот мы сейчас узнаем. Послушайте, господин, как вас, послушайте! – закричал он, перегнувшись через перила. – Вы с грузом? Хлеб?

– Уже! – ответил еврей, подняв кверху умное, наблюдательное лицо. – Теперь я еду для собственного удовольствия.

Вечером опять пела московская барышня – «Кто нас венчал», – земский начальник кричал о пользе уничтожения жидов и введения общей всероссийской порки, полковник заказывал сервюжку по-американски с каперсами. Два комиссионера уселись играть в шестьдесят шесть – старыми картами, потом к ним, как будто невзначай, подсел третий, и они перешли на преферанс. При окончательном расчете у одного из игроков не нашлось сдачи, – оказались только крупные бумажки. Он сказал:

– Ну, господа, как же мы теперь разделимся? Хотите на черное и красное?

– Нет уж, благодарю вас, в азартные игры не играю, – ответил другой. – Да это пустяки. Пускай мелочь останется за вами.

Первый как будто бы обиделся, но тут вмешался третий:

– Господа, кажется, мы не пароходные шулера и находимся в порядочной компании. Позвольте, сколько у вас выигрыша?

– Однако какой вы горячий, – сказал первый. – Шесть рублей двадцать копеек.

– Ну вот... Иду на всё.

– Ой, как страшно! – сказал первый и начал метать. Он проиграл и в сердцах удвоил ставку. И вот через несколько минут между этими тремя людьми завязалась оживленная, азартная игра в польский банчок, в которой банкомет сдает всем партнерам по три карты и от себя открывает на каждого по одной.

Не прошло и получаса, как на столе ворохами лежали кредитные билеты, столбики золота и груды серебра. Банкомет все время проигрывал. При этом он очень правдоподобно разыгрывал удивление и негодование.

– Это вам всегда так везет на пароходах? – спрашивал он с ядовитой усмешкой партнера.

– Да. А особенно по четвергам, – отвечал тот хладнокровно.

Неудачный игрок потребовал новую талию. Но он опять стал проигрывать. Вокруг их стола столпились пассажиры первого и второго классов. Игра понемногу разожгла всех. Сначала вмешался добродушный артиллерийский полковник, потом акцизный чиновник, ехавший в Асхабад, и бородатый редактор. У мадам Кострецовой загорелись глаза, и в этом сказала ее пылкая, нервная натура.

– Ставьте же против него, – сказала она злым шепотом мужу. – Разве вы не видите, что его преследует несчастье.

– Mais, дорогая моя... Бог знает с кем, – слабо протестовал земский начальник.

– Идиот! – сказала она злым шепотом. – Принесите из каюты мой ридикюль.

III

Студент давно уже понял, в чем дело. Для него было совершенно ясно, что эти три человека составляют обыкновенную компанию пароходных шулеров. Но, очевидно, ему нужно было кое-что обдумать и сообразить. Он взял в буфете длинную черную сигару и уселся на балконе, следя, как тень от парохода скользила по желтой воде, игравшей солнечными зайчиками. Помощник капитана, увидев его, сбежал с рубки, многозначительно смеясь.

– Профессор, хотите, я вам покажу одного из самых интересных людей в России?

– Да? – сказал равнодушно студент, стряхивая ногтем пепел с сигары.

– Посмотрите, вон тот господин, с седыми усами и с зеленым шелковым зонтиком над глазами. Это – Балунский, король шулеров.

Студент оживился и быстро посмотрел направо.

– Этот? Да? В самом деле Балунский?

– Да. Этот самый.

– Что же, он теперь играет?

– Нет. Совсем упал. Да если бы он и сел играть, так ведь, вы знаете, мы обязаны предупредить публику... Он только торчит за столами, смотрит и больше ничего.

В это время Балунский проходил мимо них, и студент с самым живым интересом проводил его глазами. Балунский был высокий, прекрасно сложенный старик с тонкими, гордыми чертами лица. Студент многое увидел в его наружности: давнишнюю привычку держать себя независимо и уверенно на глазах большой публики, выхоленные, нежные руки, наигранную внешнюю барственность, но также и маленький дефект в движении правой ноги и побелевшие от времени швы когда-то великолепного парижского пальто. И студент с неослабным вниманием и с каким-то странным смешанным чувством равнодушной жалости и беззлобного презрения следил за всеми этими мелочами.

– Был конь, да изъездился, – сказал помощник капитана.

– А внизу идет большая игра, – сказал спокойно студент.

Потом, вдруг повернувшись к помощнику капитана и глядя ему каменным взглядом в самые зрачки, он сказал так просто, как будто заказывал себе завтрак или обед:

– Вот что, *mon cher ami*², я к вам приглядываюсь уже два дня и вижу, что вы человек неглупый и, конечно, стоите выше всяких старушечьих предрассудков. Ведь мы с вами сверхлюди, не правда ли?

– Да, вообще... И по теории Ницше, вообще... – пробормотал важно помощник капитана. – Жизнь человеческая...

– Ну, ладно. Подробности письмом.

Студент расстегнул сюртук, достал из бокового кармана щегольской бумажник из красной кожи с золотой монограммой и вынул из него две бумажки, по сто рублей каждая.

² Мой дорогой друг (фр.).

- Держите, адмирал! Это ваши, – сказал он внушительно.
- За что? – спросил помощник капитана, захлопав глазами.
- За вашу за прекрасную за красоту, – сказал серьезно студент. – И за удовольствие поговорить с умным человеком, не связанным предрассудками.
- Что я должен сделать?
- Теперь студент заговорил отрывисто и веско, точно полководец перед сражением:
- Во-первых, не предупреждать никого о Балунском. Он мне нужен будет, как контроль и как левая рука. Есть?
- Есть! – ответил весело помощник капитана.
- Во-вторых, укажите мне того из официантов, который может подать на стол мою колоду.
- Моряк немножко замялся.
- Разве Прокофий? – сказал он, как бы рассуждая с самим собой.
- Ах, это тот, худой, желтый, с висячими усами? Да?
- Да. Этот.
- Ну, ну... У него подходящее лицо. С ним у меня будет свой разговор и особый расчет.
- Затем, мой молодой, но пылкий друг, я вам предлагаю следующую комбинацию. Два с половиной процента с валового сбора.
- С валового сбора? – захихикал восторженно помощник капитана.
- Да-с. Это составит приблизительно вот сколько... у полковника своих, я думаю, рублей тысяча и, может быть, еще казенные – скажем кругло, две. Земского начальника я тоже ценю в тысячу. Если удастся развертеть его жену, то эти деньги я считаю как в своем кармане. Остальные все – мелочь. Да еще у этих сморкачей, я считаю, тысяч около шести – восьми... вместе...
- У кого?
- А у этих паровозных шулеришек. У этих самых молодых людей, которые, по вашим словам, торгуют зерном и мукой.
- Да разве? Да разве? – спохватился помощник капитана.
- Вот вам и разве. Я им покажу, как нужно играть. Им играть в три листика на ярмарках под забором. Капитан, кроме этих двухсот, вы имеете еще триста обеспеченных. Но уговор: не делать мне страшных гримас, хотя бы я даже проигрался дотла, не соваться, когда вас не спрашивают, не держать за меня, и главное – что бы со мной ни случилось, даже самое худшее, – не обнаруживать своего знакомства со мной. Помните – вы не мастер, не ученик, а только статист.
- Статист! – хихикнул помощник капитана.
- Экий дурак, – сказал спокойно студент. И, бросив окурочку сигары через борт, он быстро встал навстречу проходившему Балунскому и фамильярно просунул руку ему под руку. Они поговорили не больше двух минут, и, когда окончили, Балунский снял шляпу с льстивым и недоверчивым видом.

IV

Поздно ночью студент и Балунский сидели на паровозном балконе. Лунный свет играл и плескался в воде. Левый берег, высокий, крутой, весь обросший мохнатым лесом, молчаливо свешивался над самым паровозом, который шел совсем близко около него. Правый берег лежал далеким плоским пятном. Весь опустившись, сгорбившись еще больше, студент небрежно сидел на скамейке, вытянув вперед свои длинные ноги. Лицо у него было усталое и глаза тусклые.

– Сколько вам может быть лет? – спросил Балунский, глядя на реку. Студент промолчал.

– Вы меня извините за нескромность, – продолжал, немного помявшись, Балунский. – Я отлично понял, для чего вы меня посадили около себя. Я также понимаю, почему вы сказали этому фушеру, что вы его ударите по лицу, если колода, после проверки, окажется верной. Вы это произнесли великолепно. Я любовался вами. Но, ради бога, скажите, как вы это делали?

Студент, наконец, заговорил через силу, точно с отвращением:

– Видите ли, штука в том, что я не прибегаю ни к каким противозаконным приемам. У меня игра на человеческой душе. Не беспокойтесь, я знаю все ваши старые приемы. Накладка, передержка, накладка, крапленные колоды – ведь так?

– Нет, – заметил обидчиво Балунский. – У нас были и более сложные штучки. Я, например, первый ввел в употребление атласные карты.

– Атласные карты? – переспросил студент.

– Ну да. На карту наклеивается атлас. Трением о сукно ворс пригибается в одну сторону, на нем рисуется валет. Затем, когда краска высохла, ворс переворачивают в другую сторону и рисуют даму. Если ваша дама бита, вам нужно только провести картой по столу.

– Да, я об этом слышал, – сказал студент. – Один лишний шанс. Но ведь зато и дурацкая игра – штос.

– Согласен, она вышла из моды. Но это было время великолепного расцвета искусства. Сколько мы употребили остроумия, находчивости... Полубояринов подстригал себе кожу на концах пальцев; у него осязание было тоньше, чем у слепого. Он узнавал карту одним прикосновением. А крапленые колоды? Ведь это делалось целыми годами.

Студент зевнул.

– Примитивная игра.

– Да, да. Поэтому-то я вас и спрашиваю. В чем ваш секрет? Должен я вам сказать, что я бывал в больших выигрышах. В продолжение одного месяца я сделал в Одессе и в Петербурге более шестисот тысяч. И кроме того, выиграл четырехэтажный дом с бойкой гостиницей.

Студент подождал – не скажет ли он еще чего, и немного погодя спросил:

– Ага! Завели любовницу, лихача, мальчика в белых перчатках за столом, да?

– Да, – ответил покорно и печально Балунский.

– Ну вот, видите: я это угадал заранее. В вашем поколении действительно было что-то романтическое. Оно и понятно. Конские ярмарки, гусары, цыганки, шампанское... Били вас когда-нибудь?

– Да, после Лебядинской ярмарки я лежал в Тамбове целый месяц. Можете себе представить, даже облысел – все волосы вылезли. Этого со мной не случалось до тех пор, пока около меня был князь Кудуков. Он работал у меня из десяти процентов. Надо сказать, что более сильного физически человека я не встречал в жизни. Нас прикрывал и его титул, и сила. Кроме того, он был человеком необыкновенной смелости. Он сидел, насасывался тенерифом в буфете, и когда слышал шум в игровой комнате, то приходил меня выручать. Ох, какой тарарам мы с ним закатили в Пензе. Подсвечники, зеркала, люстры...

– Он спился? – спросил вскользь студент.

– Откуда вы это знаете? – спросил с удивлением Балунский.

– Да оттуда... Поступки людей крайне однообразны. Право, иногда скучно становится жить.

После долгого молчания Балунский спросил:

– А отчего вы сами играете?

– Право, я и сам этого не знаю, – сказал с печальным вздохом студент. – Вот я дал себе честное слово не играть ровно три года. И два года я воздерживался, а сегодня меня почему-то взмыло. И, уверяю вас, – мне это противно. Деньги мне не нужны.

– Вы их сохраняете?

– Да, несколько тысяч. Раньше я думал, что сумею ими когда-нибудь воспользоваться. Но время пробежало как-то нелепо быстро. Часто я спрашиваю себя – чего мне хочется? Женщиной я пресытился. Чистая любовь, брак, семья – мне недоступны, или, вернее сказать, я в них не верю. Ем я чрезвычайно умеренно и ничего не пью. Копить на старость? Но что я буду делать в старости? У других есть утешение – религия. Я часто думаю: ну вот, пускай меня сделают сегодня королем, императором... Чего я захочу? Честное слово – не знаю. Мне нечего даже желать.

Монотонно журчала вода, рассекаемая пароходом. Светло, печально и однообразно лила свой свет луна на белые стенки парохода, на реку, на дальние берега. Пароход проходил узким, мелким местом... «Шесть... ше-е-сть с половиной!.. Под таба-а-к!» – кричал на носу водолив.

– Но как вы играете? – спросил робко Балунский.

– Да никак, – ответил лениво студент. – Я играю не на картах, а на человеческой глупости. Я вовсе не шулер. Я никогда ни накалываю, ни отмечаю колоду. Я только знакомлюсь с рубашкой и потому играю всегда вторым сортом. Ведь все равно после двух-трех сдач я буду знать каждую карту, потому что зрительная память у меня феноменальна. Но я не хочу понапрасну тратить энергию мозга. Я твердо убежден, что если человек захочет быть одураченным, то несомненно он и будет одурачен. И я знал заранее судьбу сегодняшней игры.

– Каким образом?

– Просто. Например: земский начальник тщеславный и глупый дурак, простите за плеоназм. Жена делает с ним все, что хочет. А она женщина страстная, нетерпеливая и, кажется, истеричная. Мне нужно было обоих их втравить в игру. Он делал глупости, а она назло вдвое. Таким манером они пропустили тот момент, когда им шло натуральное счастье. Они им не воспользовались. Они стали отыгрываться тогда, когда счастье повернулось к ним спиной. Но за десять минут до этого они могли бы меня оставить без штанов.

– Неужели это возможно рассчитать? – спросил тихо Балунский.

– Конечно. Теперь другой случай. Это полковник. У этого человека широкое, неистощимое счастье, которого он сам не подозревает. И это потому, что он широкий, небрежный, великодушный человек. Ей-богу, мне было немножко неловко его потрошить. Но уже нельзя было остановиться. Дело в том, что меня раздражали эти три жидочка.

– Не вытерпел – зажглось ретивое? – спросил стихом из Лермонтова старый шулер.

Студент заскрипел зубами, и лицо его оживилось немного.

– Совершенно верно, – сказал он презрительно. – Именно не вытерпел. Судите сами: они сели на пароход, чтобы стричь баранов, но у них нет ни смелости, ни знания, ни хладнокровия. Когда он мне передавал колоду, я сейчас же заметил, что у него руки холодные и трясутся. «Эге, голубчик, у тебя сердце прыгает!» Игра-то их была для меня совершенно ясна. Партнер слева, тот, у которого бородавка на щеке заросла волосами, делал готовую накладку. Это было ясно, как апельсин. Нужно было их рассадить, и поэтому-то, – тут студент заговорил скороговоркой, – я и прибегнул, *cher maître*³, к вашему просвещенному содействию. И я должен сказать, что вы вполне корректно выполнили мою мысль. Позвольте вам вручить вашу долю.

– О, зачем так много?

– Пустяки. Вы мне окажете еще одну услугу.

– Слушаю.

– Вы твердо помните лицо земской начальницы?

– Да.

– Так вы пойдете к ней и скажете: деньги ваши были выиграны совершенно случайно. Вы даже можете ей сказать, что я шулер. Да, но, понимаете, в таком возвышенном байроновском духе. Она клонет. Деньги она получит в Саратове, в Московской гостинице, сегодня в шесть часов вечера, от студента Држевецкого. Номер первый.

– Это, стало быть, сводничество? – спросил Балунский.

– Зачем такие кислые слова? Не проще ли: услуга за услугу.

Балунский встал, потоптался на месте, снял шляпу. Наконец сказал неуверенно:

– Это я сделаю. Это, положим, пустяки. Но, может быть, я вам понадоблюсь как машинист?

– Нет, – ответил студент. – Это старая манера действовать скопом. Я один.

– Один? Всегда один?

– Конечно. Кому я могу довериться? – возразил студент со спокойной горечью. – Если я уверен, положим, в вашей товарищеской честности, понимаете, в каторжной честности, – то я не уверен в крепости ваших нервов. Другой и смел, и некорыстолюбив, и верный друг, но... до первой шелковой юбки, которая сделает его свиньей, собакой и предателем! А шантажи? Вымогательство? Клянченье на старость? На инвалидность?.. Эх!..

– Я вам удивляюсь, – сказал Балунский тихо. – Вы – новое поколение. У вас нет ни робости, ни жалости, ни фантазии... Какое-то презрение ко всему. Неужели в этом только и заключается ваш секрет?

– В этом. Но также и в большом напряжении воли. Вы мне можете верить или не верить, – это мне все равно, – но я сегодня раз десять заставлял усилием воли, чтобы полковник ставил маленькие куши, когда ему следовало ставить большие. Мне это не легко... У меня сейчас чудовищно болит голова. И потом... Потом я не знаю, не могу себе представить, что это значит быть прибитым или раскиснуть от замешательства. Органически я лишен стыда и страха, а это вовсе не так весело, как кажется с первого взгляда. Я, правда ношу с собой постоянно револьвер, но зато уж поверьте, что в критическую минуту я о нем не забуду. Однако... – студент деланно

³ Дорогой учитель (фр.).

зевнул и протянул Балунскому руку усталым движением, – однако до свидания, генерал. Вижу, у вас глаза смыкаются...

– Всего лучшего, – сказал почтительно старый шулер, склоняя свою седую голову.

Балунский ушел спать. Студент, сгорбившись, долго глядел усталыми, печальными глазами на волны, игравшие, как рыба чешуя. Среди ночи вышла на палубу Кострецова. Но он даже не обернулся в ее сторону.

Свадьба

I

Вапнярский пехотный армейский полк расквартирован в жалком уездном юго-западном городишке и по окрестным деревням, но один из его четырех батальонов поочередно отправляется с начала осени за шестьдесят верст в отдел, в пограничное еврейское местечко, которого не найти на географической карте, и стоит там всю зиму и весну, вплоть до лагерного времени. Командиры рот ежегодно сменяются вместе со сменой батальонов, но младшие офицеры остаются почти одни и те же. Строгий полковник ссылает туда все, что в полку поплоше: игроков, скандалистов, пьющих, слабых строевиков, замухрышек, лентяев, тех, что вовсе не умеют танцевать, и просто офицеров, отличающихся непредставительной наружностью, «наводящей уныние на фронт», благо высшее начальство никогда не заглядывает в отдел. Командует же ссыльными батальонами из зимы в зиму уже много лет подряд старый, запойный, бестолковый, болтливый, но добродушный подполковник Окиш.

Рождественские каникулы. После долгих метелей установилась прекрасная погода. На улицах пропасть молодого, свежего, вкусно пахнущего снега, едва взрытого полозьями. Солнечные дни ослепительно ярки и веселы. По ночам сияет полная луна, делая снег розовато-голубым. К полночи слегка морозит, и тогда из края на край местечка слышно, как звонко скрипят шаги ночного сторожа. Занятий в ротах нет вот уже третий день. Большинство офицеров отпросилось в штаб полка, другие уехали тайком. Там теперь веселье: в офицерском собрании бал и любительский спектакль – ставят «Лес» и «Не спросясь броду, не суйся в воду», – маскарад в гражданском клубе; приехала драматическая труппа, которая ставит попеременно мелодрамы, малорусские комедии с гопаком, колбасой, горилкой и плясками, а также и легкую оперетку; у семейных офицеров устраиваются поочередно «балки» с катаньем на извозчиках, с винтом и ужином. Из всего четвертого батальона остались только три офицера: командир шестнадцатой роты капитан Бутвилович, болезненный поручик Штейн и подпрапорщик Слезкин.

Вечер. Темно. Подпрапорщик сидит на кровати, положив ногу на ногу и сгорбившись. В руках у него гитара, в углу открытого толстого рта висит потухшая и прилипшая к губе папироска. Тоскливая тьма ползет в комнату, но Слезкину лень крикнуть вестового, чтобы тот пришел и зажег лампу. За окном на дворе смутно торчат какие-то черные, отягощенные снегом прутья, и сквозь них слабо рисуются далекие крыши, нахлобучившиеся, точно белые толстые шапки, над низенькими синими домишками, а еще дальше, за железнодорожным мостом, густо злеет между белым снегом и темным небом тоненькая полоска зари.

Праздники выбили подпрапорщика из привычной наладившейся колеи и отуманили его мозг своей светлой, тихой, задумчивой грустью. Утром он спал до одиннадцати часов, спал насильно, спал в счет будущих и прошедших буден, спал до тех пор, пока у него не распухла голова, не осип голос, а веки сделались красными и тяжелыми. Ему даже казалось, что он видел в первый раз в своей жизни какой-то сон, но припомнить его не смог, как ни старался. После чая он надел праздничные сапоги французского лака и бесцельно гулял по городу, заложивши руки в карманы. Зашел для чего-то в открытый костел и посидел немного на скамейке. Там было пусто, просторно, холодно и глухо. Орган протяжно повторял одни и те же три густые ноты, точно он все собирался и никак не мог окончить финал мелодии. Пять-шесть стариков и десяток старух, все похожие на нищих, уткнувшись в молитвенники, тянули в унисон дребезжащими головами какой-то бесконечно длинный хорал. «Панна Мария, панна Мария, кру-у-ле-е-ва», – слышал подпрапорщик слова и про себя внутренне усмехнулся с пренебрежением. Слова чужого языка всегда казались ему такими нелепыми и смешными, точно их произносят так себе, нароч-

но, для баловства, вроде того, как семилетние дети иногда ломают язык, выдумывая диковинные созвучия: «каляля-маляля-паляля». И обстановка чужого храма – кисейные занавески на открытом алтаре, дубовая резная кафедра, скамейки, орган, раскрашенные статуи, бритый ксендз, звонки, исповедальня все это не возбуждало в нем никакого уважения, и он чувствовал себя так, как будто бы зашел в никому не принадлежащий, большой и холодный каменный сарай. «Молитесь, а сидят! – подумал он презрительно. – Сволочь!»

Он презирал все, что не входило в обиход его узкой жизни или чего он не понимал. Он презирал науку, литературу, все искусства и культуру, презирал столичную жизнь, а еще больше за границу, хотя не имел о них никакого представления, презирал бесповоротно всех штатских, презирал прапорщиков запаса с высшим образованием, гвардию и генеральный штаб, чужие религии и народности, хорошее воспитание и даже простую опрятность, глубоко презирал трезвость, вежливость и целомудренность. Он был из семинаристов, но семинарии не окончил, и так как ему не удалось занять псаломщицкой вакансии в большом городе, то он и поступил вольноопределяющимся в полк и, с трудом окончив юнкерское училище, сделался подпрапорщиком. Теперь ему было двадцать шесть лет. Он был высокого роста, лыс, голубоглаз, прыщав и носил длинные светлые прямые усы. Из костела он зашел к поручику Штейну, поиграл с ним в шашки и выпил водки. У Штейна все лицо было изуродовано давнишней запущенной болезнью. Старые зажившие язвы белели лоснящимися рубцеватыми пятнами, на новых были приклеены черные кружочки из ртутного пластыря. Никого из молодых офицеров не удивляло и не коробило, когда Штейн вслух называл эти украшения мифологическими прозвищами: поцелуй Венеры, удар шпоры Марса, туфелька Дианы и т. д. Прежде, только что выйдя из военного училища, он был очень красив – милой белокурой, розовой, стройной красотой холеного мальчика из хорошего дома. Но и теперь он продолжал считать себя красавцем: длительное, ежедневное разрушение лица было ему так же незаметно, как влюбленным супругам – новые черты постепенной старости друг в друге.

Штейн, поминутно подходя к зеркалу, оправлял заклейки на лице и ожесточенно бранил командира полка, который на днях посоветовал ему или лечиться серьезно, или уходить из полка. Штейн находил это подлостью и несправедливостью со стороны полковника. Весь полк болен этой же самой болезнью. Разве Штейн виноват в том, что она бросилась ему именно в лицо, а не в ноги или не на мозг, как другим? Это свинство! В третичном периоде болезнь вовсе не заразительна – это всякий дурак знает. А службу он несет не хуже любого в полку. Он долго, все повторяя, говорил об этом. Потом стал жаловаться Слезкин на свою участь: на нищенское подпрапорщичье содержание, на то, что его привлекают к суду за разбитие барабанной перепонки у рядового Греченки, на то, что его вот уже четвертый год маринуют в звании подпрапорщика, и на то что к нему придирается ротный командир, капитан Бутвилович. При этом оба пили водку и закусывали поджаренным, прозрачным свиным салом.

II

К двум часам подпрапорщик вернулся домой. Вестовой принес ему обед из ротного котла: горшок жирных щей, крепко заправленных лавровым листом и красным перцем, и пшенной каши в деревянной миске. Подавая на стол, вестовой уронил хлеб, и Слезкин дважды ударил его по лицу. Денщик же таращил на него большие бесцветные глаза и старался не моргать и не мотать головой при ударах.

Из носа у него потекла кровь.

– Поди умойся, болван! – сердито крикнул на него подпрапорщик.

За обедом Слезкин выпил в одиночку очень много водки и потом, уже совершенно насытившись, все еще продолжал через силу медленно и упорно есть, чтобы хоть этим убить время. После обеда он лег спать с таким ощущением, как будто бы его живот был туго, по самое горло, набит крупным тяжелым мокрым песком.

Спал он до сумерек. Он и теперь еще чувствует от сна легкий озноб, вместе с тупой, мутной тяжестью во всем теле, и каждую минуту зевает судорожно, с дрожью.

Аристотель, о-о-о-о-ный,
Мудрый философ,

Мудрый философ,
Продал пантало-о-о-о-ны.

поет подпрапорщик старинную семинарскую песню и лениво, двумя аккордами вторит себе на гитаре, которую он выпросил на время праздников у батальонного адъютанта, уехавшего в город. Равнодушная, терпеливая скука окутала его душу. Ни одна мысль не проносится в его голове, и нечем занять ему пустого времени, и некуда идти, и жаль беспорочно уходящих праздников, за которыми опять потянется опротивевшая служба, и хочется, чтобы уж поскорее прошло это длительное праздничное томление.

Читать Слезкин не любит. Все, что пишут в книгах, – неправда, и никогда ничего подобного не бывает в жизни. Особенно то, что пишут о любви, кажется ему наивной и слащавой ложью, достойной всякого, самого срамного издевательства. Да он и не помнит ровно ничего из того, что он пробовал читать, не помнит ни заглавия, ни сути, разве только смутно вспоминает иногда военные рассказы Лавра Короленки да кое-что из сборника армянских и еврейских анекдотов. В свободное время он охотней перечитывает Строевой устав и Наставление к обучению стрельбе.

Продал пантало-о-о-оны
За сивухи штоф.
За сивухи што-о-оф.

«Напрасно я завалился после обеда, – думает подпрапорщик и зевает. Лучше бы мне было пройтись по воздуху, а сейчас бы лечь – вот время бы и прошло незаметно. Господи, ночи какие длинные! Хорошо теперь в городе, в собрании. Бильярд... Карты... Светло... Пиво пьют, всегда уж кто-нибудь угостит... Арчаковский анекдоты рассказывает и представляет жидов... Эх!...» «Пойти бы к кому-нибудь? Нанести визит?» – соображает подпрапорщик и опять, глядя в снежное окно, зевает, дрожа головой и плечами. Но пойти не к кому, и он сам это хорошо знает. Во всем местечке только и общества, кроме офицеров, что ксендз, два священника местной церкви, становой пристав и несколько почтовых чиновников. Но ни у кого из них Слезкин не бывает: чиновников он считает гораздо ниже себя, а у пристава он в прошлом году на пасхе сделал скандал. Правда, в третьем году подпрапорщик Ухов уговорил его сделать визиты окрестным попам и помещикам, но сразу же вышло нехорошо. Приехали они в незнакомый польский дом, засыпанный снегом, и прямо ввалились в гостиную, и тут же стали раскутывать башлыки, натаив вокруг себя лужи. Потом пошли ко всем по очереди представляться, суя лопаточкой мокрые, синие, холодные руки. Потом сели и долго молчали, а хозяева и другие гости, также молча, разглядывали их с изумлением. Ухов, наконец, крикнул, покосился на пианино и сказал:

– А мы больше туда, где, знаете, фортепиано... Опять все замолчали и молчали чрезвычайно долго. Вдруг Слезкин, сам не зная зачем, выпалил:

– А я психопат! – И умолк.

Тогда хозяин дома, породистый поляк высокого роста, с орлиным носом и пушистыми седыми усами, подошел к ним и преувеличенно любезно спросил:

– Може, панове хотят закусить с дороги? И он проводил их во флигель к своему управляющему, а тот – крепкий, как бык, узколобый, коренастый мужчина – в полчаса напоил подпрапорщиков до потери сознания и бережно доставил на помещичьих лошадях в местечко.

Да и непереносно тягостно для Слезкина сидеть в многочисленном обществе и молчать в ожидании, пока позовут к закуске. Ему совершенно непостижимо, как это люди целый час говорят, говорят, – и все про разное, и так легко перебегают с мысли на мысль. Слезкин если и говорит когда, то только о себе: о том, как заколодило ему с производством, о том, что он сшил себе новый мундир, о подлом отношении к нему ротного командира, да и этот разговор он ведет только за водкой. Чужой смех ему не смешон, а досаден, и всегда он подозревает, что смеются над ним. Он и сам понимает, что его унылое и презрительное молчание в обществе тяготит и раздражает всех присутствующих, и потому, как дико застенчивый, самолюбивый и, несмотря на внешнюю грубость, внутренне трусливый человек, он не ходит в гости, не делает визитов и знает только с двумя-тремя холостыми, пьющими офицерами:

Цезарь, сын отва-а-а-аги.
И Помпеи герой,
И Помпеи герой.
Продавали шпаа-а-аги
Тою же ценой,
Тою же цено-о-ой.

В сенях хлопает дверь и что-то грохочет, падая. Входит денщик с лампой. Он воротит голову от света и жмурится.

– Это ты там что уронил? – сердито спрашивает Слезкин. Денщик испуганно вытягивается.

– Так что тибаретка упала.

– А что еще надо прибавить? – грозно напоминает подпрапорщик.

– Виноват, ваше благородие... Тибаретка упала, ваше благородие.

Лицо денщика выражает животный страх и напряженную готовность к побоям. От удара за обедом и кровотечения нос у него посинел и распух. Слезкин смотрит на денщика с холодной ненавистью.

– Тибаретка! – хрипло передразнивает он его. – Ссволочь! Неси самовар, протоплазма.

От тоски ему хочется ударить денщика сзади, по затылку, но лень вставать. И он без всякого удовольствия тянет все тот же, давно надоевший мотив:

Папа Пий девя-я-ятый
И десятый Лев,
И десятый Лев...

Денщик приносит самовар. Подпрапорщик пьет чай вприкуску до тех пор, пока в чайнике не остается лишь светлая теплая водица. Тогда он запирает сахар и осьмушку чая в шкатулку на ключ и говорит денщику:

– Тут еще осталось. Можешь допить.

Денщик молчит.

– Ты! Хам! – рявкает на него Слезкин. – Что надо сказать?

– Покорно благодарю, ваше благородие! – торопливо лепечет солдат, помогая подпрапорщику надеть шинель.

– Забыл? Ссвинния! Я т-тебя выучу. Подыми перчатку, холуй!

По его званию, его надо бы величать всего только «господин подпрапорщик», но он раз навсегда приказал вестовому называть себя «ваше благородие». В этом самовозвеличении есть для Слезкина какая-то тайная прелесть.

III

Он выходит на улицу. Круглая зеркальная луна стоит над местечком. Из-за темных плетней лают собаки. Где-то далеко на дороге звенят бубенчики. Видно, как на железнодорожном мосту ходит часовой.

«Что бы такое сделать?» – думает Слезкин. Ему вспоминается, как три года тому назад пьяный поручик Тиктил добрался вброд до полосатого пограничного столба, – на котором с одной стороны написано «Россия», а на другой «Oesterreich»⁴, зачеркнул мелом, несмотря на протесты часового, немецкую надпись и надписал сверху: «Россия». «Да, вот это было, что называется, здорово пущена пуля! – улыбается с удовольствием Слезкин. Взял и одним почерком пера завоевал целое государство. Двадцать суток за это просидел на гауптвахте в Киеве. Молодчага. Сам начальник дивизии хохотал. А то бы еще хорошо взять прийти в роту и скомандовать: «В ружье! Братцы, вашего подпрапорщика обидели жида. Те жида, которые распяли Христа и причащаются на пасху кровью христианских мальчиков. Неужели вы, русские солдаты, потерпите подобное надругательство над честью офицерского мундира? За мной! Не оставим камня на

⁴ Австрия — нем.

камне от проклятого жидовского кагала!»

– Эх! – глубоко и жалостно вздыхает Слезкин. – Или вот, если бы бунт какой-нибудь случился... умирение...

Он поворачивает на главную улицу. Густая черная толпа с веселыми криками и смехом валит ему навстречу. «Ишь чертова жида!» – думает с ненавистью подпрапорщик. Слышатся звуки нестройной музыки и глухие удары бубна. Что-то вроде балдахина на четырех палках колышется над толпой, постепенно приближаясь. Впереди, стесненные людьми, идут музыканты. Кларнетист так смешно засунул себе в рот пищик, точно он его насасывает, щеки его толстого лица надуваются и опадают, голова неподвижна, но глаза с достоинством вращаются налево и направо. Долговязый скрипач, изогнув набок свою худую, обмотанную шарфом шею, прижался подбородком к скрипке и на ходу широко взмахивает смычком. Тот же, который играет на бубне, высоко поднял кверху свой инструмент и приплясывает, и вертится, и делает смеющимся зрителям забавные гримасы. Подпрапорщик останавливается. Мимо него быстро пробегают, освещаемые на секунду светом фонаря, женщины, мужчины, дети, старики и старухи. Молодые женщины все до одной красивые и все смеются, и часто, проносясь мгновенно мимо Слезкина, прекрасное лицо, с блестящими белыми зубами и радостно сияющими глазами, поворачивается к нему ласково и весело, точно эта милая женская улыбка предназначается именно ему, Слезкину.

– А-а! И вы, пане, пришли посмотреть на свадьбу? – слышит подпрапорщик знакомый голос.

Это Дризнер, подрядчик, поставляющий для батальона мясо и дрова, маленький, толстенький, подслеповатый, но очень зоркий и живой старикашка. Он выбирается из толпы, подходит к Слезкину и здоровается с ним. Но подпрапорщик делает вид, что не замечает протянутой руки Дризнера. Для человека, который не сегодня-завтра может стать обер-офицером, униЗИтельно подавать руку еврею.

– Ну, не правда ли, какой веселый шлюб? – говорит несколько смущенно, но все-таки восторженно подрядчик. – Шлюб, это по-нашему называется свадьба. Молодой Фридман – знаете галантерейный и посудный магазин? – так он берет за себя вторую дочку Эпштейна. Шестьсот рублей приданого! Накажи меня бог, шестьсот рублей наличными!

Подпрапорщик презрительно кривит губы. Шестьсот рублей! В полку офицеру нельзя до двадцати восьми лет жениться иначе, как внеся реверс в пять тысяч. А если он, Слезкин, захочет, он и все десять тысяч возьмет, когда будет подпоручиком. Офицеру всякая на шею бросится.

Свадебное шествие переходит через площадь и суживается кольцом около какого-то дома, ярко и подвижно чернея на голубом снеге. Слезкин с подрядчиком машинально идут туда же, пропустив далеко вперед всех провожатых.

– А может, пану любопытно поглядеть на самый шлюб? – заискивающе спрашивает Дризнер, заглядывая сбоку и снизу в лицо подпрапорщика. Гордость борется в душе Слезкина со скукой. И он спрашивает неуверенно:

– А это... можно?

– Ох, да сколько заужодно. Вы прямо доставите им удовольствие. Пойдемте, я вас проведу.

– Неловко... незнаком... – мямлит Слезкин.

– Пожалуйста, пожалуйста. Без всяких церемониев. Эпштейн – так он даже швагер⁵ моему брату. Прошу вас, идите только за мной. Постойте трошки вот тутечки. Я только пройду на минуточку в дом и зараз вернусь.

Через небольшое время он выбирается из толпы в сопровождении отца невесты – полного, румяного, седобородого старика, который приветливо кланяется и дружески улыбается Слезкину.

– Пожалуйста, господин офицер. Очень, очень приятно. Вы не поверите, какая это для нас честь. Когда у нас такое событие, мы рады всякому порядочному гостю. Позвольте, я пройду вперед.

Он боком буравит толпу, крича что-то по-еврейски на публику и не переставая время от времени издали улыбаться и делать пригласительные жесты Слезкину. Дризнер, очень довольный тем, что он входит на свадьбу с такой видной особой, как подпрапорщик, почти офицер, тя-

⁵ шурин — нем.

нет Слезкина за рукав и шепчет ему на ухо:

– А у пана есть деньги? Слезкин морщится.

– Разве тут надо платить за вход?

– Ой, пане, – какое же за вход! Но вы знаете... Там вам вина поднесут на подносе... потом музыкантам... и там еще что... Позвольте вам предложить три рубля? Мы потом рассчитаемся. Я нарочно даю вам мелкими. Ну, что поделаешь, если уж такой у нас глупый обычай... Проходите вперед, пане.

IV

Свадебный бал происходил в большом пустом сарае, разделенном перегородкой на две половины. Раньше здесь помещался склад яиц, отправляемых за границу. Вдоль стен, вымазанных синей известкой, стояли скамейки, в передней комнате несколько стульев и стол для музыкантов, в задней десяток столов, составленных в длинный ряд для ужина, – вот и вся обстановка. Земляной пол был плотно утрамбован. По стенам горели лампы. Было очень светло и тепло, и черные стекла окон покрылись испариной.

Дризнер подбежал к музыкантам и что-то шепнул им. Дирижер с флейтой в руках встал, шлепнул ладонью по столу и крикнул: «Ша!» Музыканты изготавились, кося на него глазами. «Ейн, цвей, дрей!» – скомандовал дирижер. И вот, приложив флейту ко рту, он одновременно взмахнул и головой и флейтой. Музыка грянула какую-то первобытную польку.

Но, проиграв восемь тактов, музыканты вдруг опустили свои инструменты, и все хором запели тот же мотив в унисон, козлиными фальшивыми голосами, как умеют петь одни только музыканты:

Пан Слезкин, добрый пан,
Добрый пан, добрый пан,
Музыкантам гроши дал.
Гроши дал, гроши дал...

– Ну, вы им дайте что-нибудь, пане, – шепнул Дризнер, хитро и просительно прищуривая глаз.

– Сколько же? – спросил угрюмо Слезкин.

– Пятьдесят... ну, тридцать копеек... Сколько уж сами захотите.

Подпрапорщик великодушно швырнул на стол три серебряные монеты по гривеннику.

Уже много было народу в обеих комнатах, но все прибывали новые гости. Почетных и богатых людей встречали тем же тушем, что и Слезкина. Между прочим, пришел шапочко знакомый Слезкину почтовый чиновник Миткевич, постоянный посетитель всех свадеб, «балков» и «складковых» вечеринок в окрестностях, отчаянный танцор и ухаживатель, светский молодой человек. Он был в рыжей барашковой папахе набекрень, в николаевской шинели с капюшоном и с собачьим воротником, с дымчатым пенсне на носу. Выслушав хвалебный туш, он вручил дирижеру рубль и тотчас же подошел к подпрапорщику.

– Как единственно здесь с вами интеллигентные люди, позвольте представиться: местный почтово-телеграфный чиновник Иван Максимович Миткевич. Слезкин великодушно подал ему руку.

– Мы уж вместе и сядем за ужином, – продолжал Миткевич.

– А-а! А разве будет и ужин?..

– Ох, и что вы говорите? – запаясничал чиновник. – И еще какой ужин. Фаршированная рыба, фиш по-жидовски, жареный гусь и со смальцем, О-ох, это что-нибудь ошобенного!..

Музыка начала играть танцы. В распределении их не было никакого порядка. Каждый, по желанию, подходил к музыкантам и заказывал что-нибудь, причем за легкий танец платил двадцать копеек, а за кадрили тридцать, и любезно приглашал танцевать своих приятелей. Иногда же несколько человек заказывали танец в складчину.

– Посмотрите, пане, – сказал Дризнер, – вот там в углу сидит невеста. Подойдите и скажите ей: «Мазельтоф».

– Как?

– Ма-зель-тоф. Вы только подите и скажите.

– Это зачем же?

– Да уж вы поверьте мне. Это самое приятное поздравление у нас, у евреев. Скажите только – мазельтоф. Увидите, как ей будет приятно.

Придерживая левой рукой шашку, подпрапорщик пробрался между танцующих к невесте. Она была очень мила в своем белом платье, розовая блондинка с золотистыми рыжеватыми волосами, со светлым пушком около ушей и на щеках, с тонкой краснинкой вдоль темных бровей.

– Мазельтоф, – басом сказал подпрапорщик, шаркая ногой.

– Мазельтоф, мазельтоф, – одобрительно, с улыбками и с дружелюбным изумлением зашептали вокруг.

Она встала, вся покраснела, расцвела улыбкой и, потупив счастливые глаза, ответила:

– Мазельтоф.

Через несколько минут она разыскала подпрапорщика в толпе и подошла к нему с подносом, на котором стояла серебряная чарка с виноградной водкой и блюдечко со сладкими печеньями.

– Прошу вас, – сказала она ласково. Слезкин выпил и крякнул. Водка была необыкновенно крепка и ароматична.

– Положите что-нибудь на поднос, – шептал сзади Дризнер. – Это уж такой обычай.

Подпрапорщик положил двугривенный.

– Благодарю вас, – сказала тихо невеста и взглянула на него сияющими глазами. «Черт знает, какое свинство, – думал подпрапорщик презрительно. Сами приглашают и сами заставляют платить». Он заранее знал, что не отдаст Дризнеру его трех рублей, но ему все-таки было жалко денег.

Было уже около одиннадцати часов вечера. В другой комнате, предназначенной для ужина, тоже начали танцевать, но исключительно старики и старухи. Те трое музыкантов, что шли впереди свадебной процессии, кларнет, скрипка и бубен, играли маюфес – старинный свадебный еврейский танец. Почтенные толстые хозяйки в белых и желтых шелковых платках, гладко повязанных на голове, но оставляющих открытыми оттопыренные уши, и седобородые солидные коммерсанты образовали кружок и подпевали задорному, лукавому мотиву, хлопая в такт в ладоши. Двое пожилых мужчин танцевали в середине круга. Держа руки у подмышек с вывернутыми наружу ладонями и сложенными бубликом указательными и большими пальцами, выпятив вперед кругленькие животы, они осторожно, с жеманной и комической важностью ходили по кругу и наступали друг на друга и, точно в недоумении, пятились назад. Их преувеличенные ужимки и манерные ухватки напоминали отдаленно движение кошки, идущей по льду. Молодежь, столпившаяся сзади, смеялась от всей души, но без малейшей тени издевательства. «Черт знает, что за безобразие!» подумал подпрапорщик. В полночь накрыли на стол. Подавали, как и предсказывал Миткевич, фаршированную щуку и жареного гуся – жирного, румяного, со сладким изюмным и черно-сливным соусом. Подпрапорщик перед каждым куском пищи глотал без счета крепкую фруктовую водку и к концу ужина совершенно опьянел. Он бессмысленно водил мутными, мокрыми, упорно-злыми глазами и рыгал. Какой-то худенький, седенький старичок с ласковыми темными глазами табачного цвета, любитель пофилософствовать, говорил ему, наклоняясь через стол:

– Вы же, как человек образованный, сами понимаете: бог один для всех людей. Зачем людям ссориться, если бог один? Бывают разные веры, но бог один.

– У вас бог Макарка, – сказал вдруг Слезкин с мрачною серьезностью.

Старичок захихикал угодливо и напряженно, не зная, как выйти из неловкого положения, и делая вид, что он не понял пьяных слов Слезкина.

– Хе-хе-хе... И библия у нас одинакова... Моисей, Авраам, царь Давид... Как у вас, так и у нас.

– Убирайся в... А Христа зачем вы распяли?! - крикнул подпрапорщик, и старик умолк, испуганно моргая веками.

Слепое бешенство накапливалось в мозгу Слезкина. Его бессознательно раздражало это чуждое для него, дружное, согласное веселье, то почти детское веселье, которому умеют предаваться только евреи на своих праздниках... Каким-то завистливым, враждебным инстинктом он чуял вокруг себя многовековую, освященную обычаем и религией спайку, ненавистную его расхля-

банной, изломанной, мелочной натуре попа-неудачника. Сердила его недоступная, не понятная ему, яркая красота еврейских женщин и независимая, на этот раз, манера мужчин держать себя – тех мужчин, которых он привык видеть на улицах, на базарах и в лавках приниженными и заискивающими. И, по мере того как он пьянел, ноздри его раздувались, стискивались крепко зубы и сжимались кулаки.

После ужина столы очистили от посуды и остатков кушанья. Какой-то человек вскочил с ногами на стол и что-то затянул нараспев по-еврейски. Когда он кончил, – седобородый, раскрасневшийся от ужина, красивый старик Эпштейн поставил на стол серебряную вазу и серебряный праздничный шандал о семи свечах. Кругом аплодировали. Глашатай опять запел что-то. На этот раз отец жениха выставил несколько серебряных предметов и положил на стол пачку кредитных билетов. И так постепенно делали все приглашенные на свадьбу, начиная с самых почетных гостей и ближайших родственников. Таким образом собиралось приданое молодым, а какой-то юркий молодой юноша, сидевший у края стола, записывал дары в записную книжку.

Слезкин протиснулся вперед, тронул пишущего за плечи и хрипло спросил, указывая на стол:

– Это что еще за свинство?

Он с трудом держался на ногах, перекачиваясь с носков на каблуки, и то выпячивал живот, то вдруг резко ломался вперед всем туловищем. Веки его отяжелели и полужакрывали мутные, напряженные глаза.

Кругом замолчали на минуту, все с тревогой обернулись на Слезкина, и это неловкое молчание неожиданно взорвало его. Красный горячий туман хлынул ему в голову и заволок все предметы перед глазами.

– Лавочку открыли? А? Жжыды! А зачем вы распяли господа Иисуса Христа? Подождите, сволочи, дайте срок, мы еще вам покажем кузькину мать. Мы вам покажем, как есть мацу с христианской кровью. Теперь уже не пух из перин, а кишки из вас выпустим. Пауки подлые! Всю кровь из России высосали. Пр-родали Россию.

– Однако вы не смейте так выражаться! – крикнул сзади чей-то неуверенный молодой голос.

– Пришли в чужой дом и безобразничаєте. Хорош офицер! – поддержал другой.

– Господин Слезкин... Я вас убедительно прошу... Я вас прошу, – тянул его за рукав почтовый чиновник. – Да бросьте, плюньте, не стоит тратить здоровье.

– Пшел прочь... суслик! – заорал на него Слезкин. – Морду расшибу!

Он грозно ударил кулаком наотмашь, но Миткевич вовремя отскочил, и подпрапорщик, чуть не повалившись, сделал несколько нелепых шагов вбок.

– Разговаривать? – кричал он яростно. – Разговаривать? Христопродавцы! Сейчас вызову из казармы полуроту и всех вас вдребезги. Ррасшибу-у! – завыл он вдруг диким, рвущимся голосом и, выхватив из ножен шашку, ударил ею по столу. Женщины завизжали и бросились в другую комнату.

Но на руке у Слезкина быстро повис, лепеча умоляющие, униженные слова, полковой подрядчик Дризнер, а сзади в это время обхватил его вокруг спины и плеч местный извозчик Иоська Шапиро, человек необычайной физической силы. Подпрапорщик барахтался в их руках, разрывая на себе мундир и рубашку. Кто-то отнял у него из рук шашку и переломил ее о колено. Другой сорвал с него погоны. Больше он ничего не помнил: ни того, как явился на свадебный бал разбуженный кем-то капитан Бутвилович с двумя солдатами, ни того, как его перенесли домой бесчувственного, ни того, конечно, как его денщик, раздев своего подпрапорщика с искаженным от давнишней злобы лицом, пристально глядел на Слезкина и несколько раз с наслаждением замахивался кулаком, но ударить не решался. На другой же день, разруганный своим ротным командиром (кстати тоже испугавшимся ответственности). Слезкин бегал к Эпштейну, и к Фридману, и к Дризнеру, и к почтовому чиновнику Миткевичу, умоляя их молчать обо всем происшедшем. Ему пришлось много унижаться, пока он не получил символов чести мундира – пары погон и сломанной шашки.

Потом целый день до ночи он не выходил из дому, боясь поглядеть даже в глаза своему денщику. А поздно ночью, подавленный вчерашним похмельем, страхом и унижением, он молился на образок Черниговской божией матери, висевший у него в изголовье кровати на розовой ленточке, крепко прижимал сложенные пальцы ко лбу, к животу и к плечам, умиленно сотрясал

склоненной набок головой и плакал.

1908

Мой паспорт

Пасхальное стихотворение в прозе

Конечно, нет более смешного и нелепого явления в пестрой русской жизни, чем эта тоненькая книжка, которая лежит сейчас у меня перед глазами на письменном столе рядом с велосипедным номером и железной бляхой моего гончего кобеля Завирайки. Боже мой! Какая трата сил, энергии, ума, здоровья, душевного спокойствия, честности, любви и взаимного доверия – и все из-за нескольких страничек, захватанных чужими руками и никому не нужных! О вы, мои товарищи по несчастью, вы, рязанские плотники, калужские каменщики, ярославские разносчики, тульские банщики, зарайские и псковские извозчики, смоленские и витебские землекопы, вы, простосердечные кухарки, водовозы, селедочницы и другие милые люди, не вошедшие в число особ первых четырех классов, вы все, имеющие рост – средний, цвет волос – русый, глаза обыкновенные, лицо чистое, но зато не имеющие ни одной особой приметы, вы, невольные странники, которых за утерю вида гонят по этапу с крайнего юга на крайний север моей прекрасной и несуразной родины, – я мысленно обнимаю вас от всего моего сердца в этот весенний день, накануне теплого, радостного праздника!

Но в те года, когда неслышными шагами подходит к нам старость, – тогда таинственную, очаровательную, сладкую и грустную власть приобретают над нашей душой все вещи, запахи, звуки и слова, говорящие об уплывшем прошлом. Для молодости непонятна наша томная, длительная любовь к далеким воспоминаниям. И потому-то сейчас, в эту минуту, я искренно благодарю вас, жирные, хриплые исправники, и вас, расторопные становые в густых подусниках, и вас, проницательные урядники, и вас, толстые швейцары отелей, и вас, лукавые рыжебородые старшие дворники, и вас, умные прыщавые паспортисты (хотя от вас всегда дурно пахло заносенным бельем и скверным табаком, и рука ваша, принимающая тайный рубль, была всегда мокра), – благодарю вас за то, что вы – сами не зная для чего – так заботливо отметили все станции в моей длинной жизни. Пасха – всегда пасха.

Она одна и та же для всего живущего: для обрезанных и необрезанных, для монголов, индоевропейцев, негров и туарегов, для людей севера и юга, для лошадей, собак, рыб, жуков, деревьев и даже чиновников. Светлый, ликующий праздник: весна, солнце, новая любовь, песни, тепло и зелень! И вот, брезгливо перебирая грязные листы этой диковинной книжки, я радостно и грустно перебираю воспоминания о моих прежних веснах.

Москва. Колокольня. Какая веселая, пьянящая, головокружительная пестрота внизу, под моими ногами. Небо страшно близко: вот-вот дотянешься рукой до белого, пухлого, ленивого облачка. О, верх мальчишеского счастья – наконец-то в моих руках веревка от самого главного, самого большого колокола. Грушевидный язык его тяжел и долго скрипит своим ухом, пока его раскачаешь. Ба-ам! Теперь уж больше ничего не видишь, не слышишь и не понимаешь. В ушах больно от мощных медных колебаний. Еще! Еще! Ласточки стрелой проносятся мимо тебя. Любительские голуби стаями плавают высоко в воздухе...

Киев. Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с масляными глазами и красным ртом. Помню, как мы, возбужденные теплом черной ночи, ароматным ветром, огнями на улицах и этой тревожной, танцующей суетой, ходили из церкви в церковь, из костела в кирку, к единоверцам, грекам и старообрядцам. Ах! Красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем свечи, – этот блеск зубов и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие блики в глазах, и тоненькие пальчики, изгибающие растопленный воск в смешные завитушки. Почему-то беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие веселые: трам-трам, тра-ля-лям! И все смеялись – смеялись новой весне, воскресению, цветам, радостям своего тела!

А вот от старообрядцев нас попросили уйти... Видит бог, в нашем смехе не было никакого зла! Но, когда на клиросе бородатые, рыжие, серьезные мужики запели в унисон козлиными голосами, умышленно и неестественно гнусавя и искажая слова:

Христос воскресе из меретавыха,
Самертию на самерти насатупив
И гробным живот дахорахова,

– ну, просто мы были поражены неожиданностью и покатились со смеху, как это было недавно со мной, когда в моем присутствии один поэт-символист – человек несомненного, даже исключительного таланта – вдруг зачитал что-то о кладбище и о мертвецах на мотив «чижика»: я знал, что мой смех неучтив, но не мог усилием воли победить его. Так и у старообрядцев... Но все-таки была ночь, и я жил, и я этого никогда не забуду. Я до сих пор помню и люблю этих серьезных, певших весну людей. А потом еще было утро, разлив Днепра, черемуха, немножко любви... Вижу я также на моем паспорте скромную пометку Сергиева посада. Это – Троицке-Сергиевская лавра. Я люблю этот уголок – осколок Москвы XVI столетия, эти красные и белые стены с зубцами и бойницами, ёрнический торг на широкой площади, расписные троичные сани, управляемые ямщиками в поддевках и в круглых шляпах с павлиньими перьями, «Купец, пожалуйста!..», и блинные ряды, и бесконечное множество толстых, зобастых и сладострастных святых голубей, и монахов с сонными глазами, большим засаленным животом и пальцами, как у новорожденного младенца – огурчиком, и пряничных коней, и деревянных кукол – произведения балбешников, и помню еще многое другое. Да. Но участвовать в великом празднике мне не удалось. За два дня до воскресения Христова, в четыре часа утра, ко мне постучались. Я побежал босиком, почти голый, по длинному, холодному коридору (ибо я ждал тогда нетерпеливо известий от бесконечно дорогого мне человека) и, доверчиво отворяя дверь, спросил в восторге:

– Да? Телеграмма?

– Да, – ответили они: – телеграмма, – и вошли:

1) жандармский унтер-офицер Богуцкий Фома, 2) два городских, дворники и пр. и 3) спустя 10 минут местный полицеймейстер, местный жандармский ротмистр Воронов (холеное лицо, беспристрастность, небрежность и – «он все знает наперед»), чахоточный околоточный, хозяин моего дома со смешной фамилией Дмитрий Донской, понятия.

– Ты его обыскал?

– Так точно, ваше-с...

– Вы можете одеться.

Но я ответил, что я привык всегда ходить дома только в одной ночной рубашке. Потом он сел за мой письменный стол и начал рыться в дорогих мне письмах, карточках, записных книжках. Я сел рядом с ним на стол. Это была также моя привычка. Тогда он любезно позволил мне «взять стул». Но я намекнул ему, что я, как хозяин дома, мог бы первым предложить ему то же самое. Словом, у нас сделались сразу довольно тяжелые отношения. Он был человек твердый и многосторонне образованный, он увидел в одной из моих записных книжек следующие знаки:

–.. \par

Он спросил:

– Да-с, а это что?

Я ответил, болтая ногами:

– Это, господин полковник, произошло вот как. Один начинающий, но, увы, бездарный поэт принес мне стихи. И я доказывал ему на бумаге карандашом то, что он начинает хореем, переходит в ямб и вдруг впадает в трехсложное стихосложение.

– Я-ямб? – воскликнул он. – Ямб-с? Это мы знаем, какой ямб! Богуцкий, приобщи.

Моя записная книжка пропала. И навеки. Много было также приятного и неприятного в городах: Крыжополе, Проскурове, Наровчате, любезной нашему сердцу Устюжне, в Теофиполе. Но вот какое обольстительное воспоминание радует меня и пьянит, и я знаю, что так будет до конца моих дней.

Я тогда жил в Мисхоре, на южном берегу моря, в пустой даче. Никого кругом не было. Зеленели кусты. Черные дрозды прилетели уже дней пять-шесть тому назад и насвистывали своими довольно фальшивыми голосами смешные мотивы.

И вот наступила эта чудесная пасхальная ночь. Ночь была так темна и ветер так силен, что я должен был обнимать ее за талию, помогая ей спускаться вниз по вьющейся узенькой дорожке.

Мы легли на крупном мокром песке около самой воды. Море было беспокойно. Это было приблизительно часов около 12–2 ночи. Черное небо, порывистый ветер с Анатолийского берега, свет только от звезд и едва различаемые пенные гребни последних волн.

Маленькая смешная подробность: накануне выбросило прибоем дельфина. Мы заметили его присутствие только через три минуты, благодаря запаху разложения. Мы ушли от него в другое место. Это была моя последняя пасха, моя последняя весна. Так красиво и нетерпеливо шуршало около наших ног море, так неожиданно послушны, готовы и радостны были эти гордые губы...

О мудрец, как я понимаю твои великие слова: остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Но все проходит, и ничто не возвращается. Склоним же голову перед вечной судьбой и скажем про себя:

Молодости – радость.

Силе – кротость.

Мудрости – молчание.

Старости – сладкий, долгий сон...

Последнее слово

Да, господа судьи, я убил его!

Но напрасно медицинская экспертиза оставила мне лазейку, – я ею не воспользуюсь.

Я убил его в здравом уме и твердой памяти, убил сознательно, убежденно, холодно, без малейшего раскаяния, страха или колебания. Будь в вашей власти воскресить покойного – я бы снова повторил мое преступление.

Он преследовал меня всегда и повсюду. Он принимал тысячи человеческих личин и даже не брезговал – бесстыдник! – переодеваться женщиной. Он притворялся моим родственником, добрым другом, сослуживцем и хорошим знакомым. Он гримировался во все возрасты, кроме детского (это ему не удавалось и выходило только смешно). Он переполнил собою мою жизнь и отравил ее.

Всего ужаснее было то, что я заранее предвидел все его слова, жесты и поступки.

Встречаясь со мною, он всегда растопыривал руки и восклицал нараспев:

– А-а! Ко-го я вижу! Сколько ле-ет... Ну? Как здоровье?

И тотчас же отвечал сам себе, хотя я его ни о чем не спрашивал:

– Благодарю вас. Ничего себе. Понемножку. А читали в сегодняшнем номере?...

Если он при этом замечал у меня флюс или ячмень, то уж ни за что не пропустит случая заржать:

– Что это вас, батенька, так перекосило? Нехоро-шо-о-о!

Он наперед знал, негодяй, что мне больно вовсе не от флюса, а от того, что до него еще пятьдесят идиотов предлагали мне тот же самый бессмысленный вопрос. Он жаждал моих душевных терзаний, палач!

Он приходил ко мне именно в те часы, когда я бывал занят по горло спешной работой. Он садился и говорил:

– А-а! Я тебе, кажется, помешал?

И сидел у меня битых два часа со скучной, нудной болтовней о себе и своих детях. Он видел, как я судорожно хватаю себя за волосы и до крови кусаю губы, и наслаждался видом моих унижительных мучений.

Отравив мое рабочее настроение на целый месяц вперед, он вставал, зевая, и произносил:

– Всегда с тобой заболтаешься. А меня дела ждут. На железной дороге он всегда заводил со мною разговор с одного и того же вопроса:

– А позвольте узнать, далеко ли изволите ехать?

И затем:

– По делам или так?

– А где изволите служить?

– Женаты?

– Законным? Или так?

О, я хорошо изучил все его повадки. Закрыв глаза, я вижу его, как живого. Вот он хлопает

меня по плечу, по спине и по колену, делает широкие жесты перед самым моим носом, от чего я вздрагиваю и морщусь, держит меня за пуговицу сюртука, дышит мне в лицо, брызгается. Вот он часто дрожит ногой под столом, от чего дребезжит ламповый колпак. Вот он барабанит пальцами по спинке моего стула во время длинной паузы в разговоре и тянет значительно: «Н-да-а», и опять барабанит, и опять тянет: «Н-да-а». Вот он стучит костяшками пальцев по столу, отхаживая отыгранные пики и прикрывая: «А это что? А это? А это?..» Вот в жарком русском споре приводит он свой излюбленный аргумент:

– Э, батенька, ерунду вы порете!

– Почему же ерунду? – спрашиваю я робко.

– Потому что чепуху!

Что я сделал дурного этому человеку, я не знаю. Но он поклялся испортить мое существование и испортил. Благодаря ему я чувствую теперь глубокое отвращение к морю, луне, воздуху, поэзии, живописи и музыке.

– Толстой? – орал он и устно, и письменно, и печатно. – Состояние перевел на жену, а сам... А с Тургеневым-то он как... Сапоги шил... Великий писатель земли русской... Урра!..

– Пушкин? О, вот кто создал язык. Помните у него: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо»... А женато его, знаете, того... А в Третьем отделении, вы знаете, что с ним сделали? А помните... тсс... здесь дам нет, помните, как у него эти стишки:

Едем мы на лодочке,
Под лодочкой вода...

– Достоевский?.. Читали, как он однажды пришел ночью к Тургеневу каяться... Гоголь – знаете, какая у него была болезнь?

Я иду на выставку картин и останавливаюсь перед тихим вечерним пейзажем. Но он следил, подлец, за мною по пятам. Он уже торчит сзади меня и говорит с апломбом:

– Очень мило нарисовано... даль... воздух... луна совсем как живая... Помнишь, Нина, у Типяевых приложение к «Ниве»? Есть что-то общее...

Я сижу в опере, слушаю «Кармен». Но он уже тут как тут. Он поместился сзади меня, положил ноги на нижний ободок моего кресла, подпевает очаровательному дуэту последнего действия, и я с ненавистью чувствую каждое движение его тела. И я также слышу, как в антракте он говорит умышленно громко, специально для меня:

– Удивительные пластинки у Задорадовых. Настоящий Шаляпин. Просто и не отличить.

Да! Это он, не кто, как он, изобрел шарманку, граммофон, биоскоп, фотофон, биограф, фонограф, ауксетофон, патефон, музыкальный ящик монопан, механического тапера, автомобиль, бумажные воротники, олеографию и газету.

От него нет спасения! Иногда я убегал ночью на глухой морской берег, к обрыву, и ложился там в уединении. Но он, как тень, следовал за мною, подкрадывался ко мне и вдруг произносил уверенно и самодовольно:

– Какая чудная ночь, Катенька, не правда ли? А облака? Совсем как на картине. А ведь попробуй художник так нарисовать – ни за что не поверят.

Он убил лучшие минуты моей жизни – минуты любви, милые, сладкие, незабвенные ночи юности. Сколько раз, когда я брел под руку с молчаливым, прелестным, поэтичным созданием вдоль аллеи, усыпанной лунными пятнами, он, приняв неожиданно женский образ, склонял мне голову на плечо и произносил голосом театральной инженю:

– Скажите, вы любите природу? Что до меня – я безумно обожаю природу.

Или:

– Скажите, вы любите мечтать при луне?

Он был многообразен и многоличен, мой истязатель, но всегда оставался одним и тем же. Он принимал вид профессора, доктора, инженера, женщины-врача, адвоката, курсистки, писателя, жены акцизного надзирателя, помещика, чиновника, пассажира, посетителя, гостя, незнакомца, зрителя, читателя, соседа по даче. В ранней молодости я имел глупость думать, что все это были отдельные люди. Но он был один. Горький опыт открыл мне, наконец, его имя. Это – русский интеллигент.

Если он не терзал меня лично, то повсюду он оставлял свои следы, свои визитные карточ-

ки. На вершине Бештау и Машука я находил оставленные им апельсиновые корки, коробки из-под сардинок и конфетные бумажки. На камнях Алупки, на верху Ивановской колокольни, на гранитах Иматры, на стенах Бахчисарая, в Лермонтовском гроте – я видел сделанные им надписи:

«Пуся и Кузики, 1903 года, 27 февраля».

«Иванов».

«А. М. Плохохвостов из Сарапула».

«Иванов».

«Печорина».

«Иванов».

«М. Д... П. А. Р... Талочка и Ахмет».

«Иванов».

«Трофим Живопудов. Город Самара».

«Иванов».

«Адель Соловейчик из Минска».

«Иванов».

«С сей возвышенности любовался морским видом С. Никодим Иванович Безупречный».

«Иванов».

Я читал его стихи и заметки во всех посетительских книгах; и в Пушкинском доме, и в Лермонтовской сакле, и в старинных монастырях. «Были здесь Чикуновы из Пензы. Пили квас и ели осетрину. Желаем того же и вам». «Посетил родное пепелище великою русского поэта, учитель чистописания Воронежской мужской гимназии Пистоль».

«Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин».

Стоило мне только раскрыть любую русскую книгу, как я сейчас же наткнулся на него. «Сию книгу читал Пафнutenко». «Автор дурак». «Господин автор Не читал Карла Маркса». Или вдруг длинная и безвкусная, как мочалка, полемика карандашом на полях. И, конечно, не кто иной, как он, загибал во всех книгах углы, вырывал страницы и тушил книгой стеариновые свечки.

Господа судьи! Мне тяжело говорить дальше... Этот человек поругал, осмеял и опозил все, что мне было дорого, нежно и трогательно. Я боролся очень долго с самим собою... Шли года. Нервы мои становились раздражительнее... Я видел, что нам обоим душно на свете. Один из нас должен был уйти.

Я давно уже предчувствовал, что какая-нибудь мелочь, пустой случай толкнет меня на преступление. Так и случилось.

Вы знаете подробности. В вагоне было так тесно, что пассажиры сидели на головах друг у друга. А он с женой, с сыном, гимназистом приготовительного класса, и с кучей вещей занял две скамейки. Он на этот раз оделся в форму министерства народного просвещения. Я подошел и спросил:

– Нет ли у вас свободного места?

Он ответил, как бульдог над костью, не глядя на меня:

– Нет. Тут еще один господин сидит. Вот его вещи. Он сейчас придет.

Поезд тронулся. Я нарочно остался стоять подле. Проехали верст десять.

Господин не приходил. Я нарочно стоял, молчал и глядел на педагога. Я думал, что в нем не умерла совесть.

Напрасно. Проехали еще верст с пятнадцать. Он достал корзину с провизией и стал закусьивать. Потом они пили чай. По поводу сахара произошел семейный скандал.

– Петя! Зачем ты взял потихоньку кусок сахара?

– Честное слово, ей-богу, папаша, не брал. Вот вам ей-богу.

– Не божись и не лги. Я нарочно пересчитал утром. Было восемнадцать кусков, а теперь семнадцать.

– Ей-богу!

– Не божись. Стыдно лгать. Я тебе все прощу, но лжи не прощу никогда. Лгут только трусы. Тот, кто солгал, тот может убить, и украсть, и изменить государю и отечеству...

И пошло, и пошло... Я эти речи слышал от него самого еще в моем бедном детстве, когда он был сначала моей гувернанткой, а потом классным наставником, и позднее, когда он писал публицистику в умеренной газете.

Я вмешался:

– Вот вы браните сына за ложь, а сами в его присутствии лжете, что это место занято каким-то господином. Где этот господин? Покажите мне его.

Педагог побагровел и выкатил глаза.

– Прошу не приставать к посторонним пассажирам, когда к вам не обращаются с разговорами. Что это за безобразие, когда каждый будет приставать? Господин кондуктор, заявляю вам. Вот они все время нахально пристаю к незнакомым. Прошу принять меры. Иначе я заявлю в жандармское управление и занесу в жалобную книгу.

Кондуктор пожурил меня отечески и ушел. Но педагог долго не мог уняться...

– Раз вас не трогают, и вы не трогайте. А еще в шляпе и в воротничке, по-видимому, интеллигент... Если бы это себе позволил мужик или мастеровой... А то интеллигент!

Интел-ли-гент! Палач назвал меня палачом! Кончено... Он произнес свой приговор.

Я вынул из кармана пальто револьвер, взвел курок и, целясь педагогу в переносицу, между глаз, сказал спокойно:

– Молись.

Он, побледнев, закричал:

– Карррау-у-ул!

Это слово было его последним словом. Я спустил курок.

Я кончил, господа судьи. Повторяю: ни раскаяния, ни жалости нет в моей душе. Но одна ужасная мысль гложет меня и будет глотать до конца моих дней – все равно, проведу я их в тюрьме или в сумасшедшем доме:

«У него остался сын! Что, если он унаследует целиком отцовскую натуру?»

<1908>

Лавры

Сказочка

– Почтеннейшая публика, прекрасные дамы и милостивые господа! Я тоже, с вашего позволения, расскажу свою историю, из которой вы ясно увидите, как непрочно земная красота и как хрупка и преходяща слава.

Этот голос раздался из самой глубины обширной помойной ямы, где в кислой, вонючей тьме догнивали остатки овощей, картофельная шелуха, безобразные тряпки, кости, веревки, лимонные корки, бумажки, окурки и рыбы внутренности, где громоздились в куче разбитые бутылки, проволока, жестянки и пустые спичечные коробки и где хозяйничали вволю огромные бурые крысы, мудрые и злые животные с голыми хвостами и острыми черными глазками.

– Позвольте, кто это говорит? – спросила надменно растерзанная грецкая губка, у которой было блестящее прошлое, проведенное в уборной хорошенькой женщины.

– Это я, лавровый лист, – отозвался скромный голос. – Меня, к сожалению, не совсем видно, потому что я сверху придавлен старым башмаком и засыпан каким-то мусором. Но, если судьбе будет угодно когда-нибудь извлечь меня из этих недр на поверхность, я, конечно, сочту долгом представиться всем моим высокочтимым соседям. Я получил хорошее воспитание, вращался в большом обществе и потому знаю светские обязанности.

Так вот моя история, милостивые государыни и государи:

Я происхождением южанин и вырос на Южном берегу Крыма в большой зеленой кадке, обитой железными обручами. Как сквозь какую-то волшебную пелену вспоминаю я небо, море, горы и стрекотание цикад в жаркие ночи. Помню благоухание глициний, струивших вниз свои

голубые водопады, и благоухание маленьких белых вьющихся роз, пахнувших фиалкой, и сладкий лимонный аромат магнолий, огромные белые цветы которых были точно выточены из слоновой кости, и роскошный, страстный, горячий запах тысяч штамбовых роз: белых, желтых, палевых, розовых, пунцовых и темно-пурпурных.

Я был тогда молод и мало смыслил в делах житейских, так же мало, как и сотня моих братьев, происшедших от одного и того же ствола. Впервые о великом значении лавровых листьев я узнал в томный летний вечер, когда мимо нас проходила девушка в белом платье вместе с гимназистом. У девушки в рыжих волосах горело пушистым золотом заходящее солнце, а у гимназиста был мрачный вид и пояс, спущенный ниже бедер, отчего ноги его казались до смешного короткими.

– Посмотрите, Коля, – это ведь лавры! – закричала девушка в восторге. – Настоящие лавры! Те самые лавры, которыми награждали поэтов и победителей на Олимпийских играх, которые не давали спать Мильтиаду, которыми увенчали Петрарку...

Но гимназист был, как я потом узнал, влюблен, разочарован, оставлен на второй год в четвертом классе и, кроме того, принадлежал к партии а. а., то есть был «атчаянным анархистом». Он сорвал один листок, растер его между пальцами, понюхал и сказал суровым басом:

– И которые кладут в суп...

Прошло три лета. Я уже порядочно вытянулся и достиг юношеского возраста, когда наше деревцо пересадили в другую кадку, гораздо больших размеров, и вот однажды осенним утром закутали нас в рогожу, обвязали мочалками и отправили на север. Ехали мы и на телеге, и на пароходе, и по железной дороге, и опять на телеге, и, по правде сказать, это было пренеприятное путешествие среди постоянной духоты, темноты и качки. Так мы и приехали в этот большой город, где протекла вся моя шумная и разнообразная жизнь и где под конец моих дней я имею высокую честь беседовать с таким почтенным собранием.

Поместили нас в зимнем саду, в большом пышном доме, похожем на дворец. Над нами была стеклянная крыша, и южная стена теплицы была тоже из стеклянных рам, но искусственный газон, узенькие дорожки, посыпанные песком, и фонтан над бассейном из ноздреватого камня должны были напоминать о настоящей природе. Несколько раз в год во дворце бывали блестящие балы. Тогда лавровые деревья вместе с пальмами и другими большими растениями перетаскивались из зимнего сада в комнаты, на лестницу и даже на подъезд, покрытый, как шатром, полосатым тиком. Какое общество я перевидал в эти дни, какие прекрасные женщины, выхоленные в лучших человеческих оранжереях, пробежали мимо меня наверх по ступеням, устланном толстым красным ковром, перебирая своими маленькими ножками в белых атласных туфельках. Какие плечи, руки, кружева, жемчужные ожерелья на обнаженных шеях. Какие ленты, звезды, бакенбарды, шпоры, мундиры, фраки, цветы в петличках, какая чудесная музыка, свет, запах духов! И все это прошло, как сон. Однажды зимним днем, когда снег шел так густо-густо и такими огромными хлопьями, как будто бы кто-то там наверху уничтожал всю свою корреспонденцию, накопившуюся за тысячу лет, пришли мужики и перенесли нас в большую пустую комнату, посредине которой лежал на черном возвышении, в длинном серебряном ящике, седой человек с закрытыми глазами и с бледным лицом, улыбавшимся мудрой и благодарной улыбкой. Приходили и уходили люди, очень много людей, пели, говорили нараспев, опять пели, и вся комната наполнялась тогда синим пахучим дымом, в котором тепло и мглисто мерцали огоньки свечей. И было очень странно видеть, как все глядели на лежавшего и говорили только о нем и пели только про него, а он все лежал и лежал, не открывая глаз и тихо улыбаясь.

Когда его унесли и запах синего дыма еще стоял в пустой комнате, пришли веселые люди в красных рубашках и замазали белой краской оконные стекла. А меня с моими братьями взяли на плечи двое рабочих и понесли через весь город в цветочный магазин. Несмотря на холод, весело было мне глядеть сверху на экипажи и вагоны и на головы тысячной толпы.

Но в цветочном магазине я пробыл недолго. Нас купил какой-то трактирщик и поставил в зале между столиками, в сомнительной компании с искусственными пальмами. Плохая это была жизнь. Нас часто забывали поливать, а в нашу кадку каждый день набрасывали пропасть сигарных и папиросных окурков. По вечерам играл орган, визжали скрипки, в воздухе висел чад и дым, а в стеклянном аквариуме стояли неподвижно, едва пошевеливая плавниками, большие, темные, издыхающие рыбы. Время от времени слышал я знакомые фразы о Мильтиаде и Петрарке, но только скучал от них. Время и жизненный опыт состарили меня. Потом хозяин наш

разорился. Кто-то скупил за долги и орган, и столики, и белые салфетки, и аквариум. Но растенный новый владелец не любил. И мы опять попали в цветочный магазин.

Не буду распространяться подробно об этом тусклом времени. Скажу только, что часто брали нас напрокат и украшали нами то лестницы во время платных балов, то церкви, то рестораны под Новый год, то кухмистерские в свадебные вечера. Всего и не упомяну.

Но раз глубокой осенью пришли в магазин двое: девушка в непромокаемом плаще и краснощекий, курчавый, веселый и шумный студент, в котором я узнал прежнего мрачного гимназиста, свидетеля моего детства. Они заказывали лавровый венок, небольшой, простой лавровый венок и к нему широкую красную ленту с надписью золотыми буквами: на одной половине – «Гению русской сцены», а на другой – «От учащейся молодежи».

Да, это был мой смертный приговор. В тот же день меня отстригли от родного ствола и сплели в кружок с другими листьями. А вечером человек в красном фраке с золотыми пуговицами пронес меня между двумя рядами сидящих людей, передал другому человеку, а этот передал третьему, который нагнулся сверху, чтобы взять меня. Этот третий, сильно освещенный огнями, был в черном бархатном камзоле, в черных чулках в обтяжку и в белокуром парике. Он улыбался счастливо, искательно, гордо и неестественно, и вот я увидел с высоты много сотен человеческих лиц, как смутно-бледные пятна. Одни пятна, пятна, пятна. Я услышал рев и плеск толпы и убедился, что лицо, к которому я прикасался, было влажно и горячо. И долгое время на моей нижней стороне сохранялся жирный розовый мазок грима. Так началась наша общая жизнь с этим бритым рослым человеком и продолжалась много-много лет. Жили мы и в больших, просторных комнатах гостиниц, и на чердаках, и в подвалах. Когда временами бритый человек терял равновесие и пошатывался, то он снимал нас с гвоздя, прижимал к губам и мочил слезами. «Этот скромный венок – самый лучший дар признательных и чистых сердец! – восклицал он блеющим голосом. – Положите его со мной в могилу». А иногда кричал своему слуге: «Убери к черту этот банный веник, вышвырни его за окошко!» Но в конце концов все-таки вышвыривать нас не позволял. Но... все проходит и все повторяется в этом мире. Однажды черные лошади с белыми султанами на головах повезли моего бритого человека, лежавшего под балдахином в узком ящике, на край города. Мы с другими венками ехали сзади него на маленькой повозочке, а позади нас шла толпа. Люди опять попели, поговорили, покадили знакомым мне синим дымком, опустили в яму бритого человека и разъехались.

Прошло лето, осень, и наступила зима. Над бритым человеком положили мраморную плиту и поставили часовенку. Какая-то дама в черном навещала нас изредка и смахивала пыль с венков. Венки были разные: из иммортелей, и из живых цветов, и из зеленой жести, и из крашеной материи. Были и серебряные венки, но их увезли сейчас же после того, как зарыли бритого человека в землю. А Мы все так и висели по стенкам часовни, разрушаясь от времени, от ветра и от сырости.

И однажды дама в черном сказала сторожу:

– Пожалуй, надо убрать некоторые венки. Уж очень некрасиво. Вот этот, этот и тот...

И правда, у всех у нас вид был неказистый: краски слиняли, цветы сморщились, листья покоробились и обломались. В тот же день сторож забрал нас и свалил в темную, холодную камеру позади своего жилья, вместе со всяким хламом. Сколько я там пролежал времени, я не могу сказать. Может быть, неделю, может быть, десять лет. Время точно остановилось: да и я сам уже был почти мертвецом. Как-то зашел к сторожу знакомый старьевщик, и нас вытащили на свет божий. Перебирая всякую рухлядь, он взял в руки лавровый венок, поглядел на него с усмешкой, понюхал и сказал:

– Ничего... Годится и этот. Еще пахнет. Он оципал венок, вымыл листья, чтобы придать им свежий вид, и отнес в мелочную лавочку, и я долго пролежал на полочке в бумажном мешочке, пока не пришла однажды утром кухарка из дома напротив.

– На копейку перцу, на три луку, на копейку лаврового листа, на три копейки соли, – просыпала она скороговоркой.

Толстая потная рука опустилась в тюрник и бросила меня на весы. Через час я уже кипел в супе, а вечером меня выплеснули в грязное ведро, а дворник отнес меня на помойку. Здесь и окончилась моя долгая, пестрая жизнь, начавшаяся так поэтично...

Рассказчик помолчал и прибавил со вздохом:

– Все проходит в этом мире...

Слушатели молчали задумчиво. Молчали, поводя усами, бурые умные крысы с голыми хвостами. Один только древний шагреневый переплет, когда-то облекавший очень глубокомысленную книгу, сказал наставительно:

– Все проходит, но ничто не пропадает. Но старый башмак зевнул во весь свой разодранный рот и сказал лениво:

– Ну, это, знаете ли, не утешительно...

О пуделе

У меня в доме теперь живет черный кобель пудель. Его зовут Негодяй. Так его прозвали вовсе не для того, чтобы оскорбить его собачье достоинство. А просто в то время, когда у него чесались зубы, он грыз ножки столов и стульев, жевал разные любимые портреты и возвращал их в замусленном и гнусном виде, врывался, как бешеный, в курятник домовладелицы, и выгонял оттуда всех кур, и громко кричал на них; от этого они носились по двору, кудахтали и роняли перья.

Однажды он вконец испортил нам любимый фикус.

Однажды во время домашнего маленького концерта он влетел в комнату и так скверно начал аккомпанировать известному скрипачу, что этот скрипач больше уже к нам не заходил и вряд ли когда-нибудь зайдет.

Я уже не говорю о тех неприятностях, которые он причинял прислуге. И даже, кажется, потихоньку его били в кухне за это.

Сегодня утром я предложил ему хлеба с маслом; но он осторожно и, видимо, только из вежливости слизал одно масло, и опять улегся у меня в ногах, и глядел на меня грустными, вопрошающими глазами.

Я хорошо знаю, что ему исполняется теперь год, и, стало быть, время собаке гулять, но я так же твердо знаю и то, что в этом бедном животном проснулось сознание и что животное от этого несчастно.

Неутомимо, вежливо, настойчиво тянет он меня выйти вместе с ним на улицу и непременно сесть на извозчика и поехать, а он в это время будет бежать рядом с экипажем и лаять на колесо, которое вертится! Потом он забежит вперед и будет прыгать с лаем на лошадиную морду. В это время он говорит ей:

– Пожалуйста, остановись, дай мне обдумать, почему колесо вертится, я не могу этого понять, я хочу это понять!

Но это не трогает лошадь; в ней еще живы большие животные инстинкты, которыми мы, люди, пользуемся так равнодушно, то есть пользуемся ее силой, памятью местности, очень большой нервностью, красотой ее форм, ее глупостью, ее неприхотливым питанием.

Она бежит под кнутом в слепом ужасе и думает об овсе.

И вот бедный черный пудель опять возвращается ко мне, вспрыгивая на пролетку, садится рядом со мной и плачет:

– Объясни же мне, ты, умный, непостижимый для меня волшебник, ты, который умеешь делать чудеса, зажигать огонь, которому так легко достается пища, взгляда которого я не могу перенести, – объясни мне: отчего колесо вертится? Зачем я существую на этом свете? Почему так непреодолимо я привязан к тебе, и не лучше ли было бы мне бегать исхудалым и злым волком в лесной трущобе, спать под корнями дерева и с наслаждением лакать кровь зайца, которому я перекусил горло? Милая, добрая, бедная собачка, друг мой!.. В том-то и дело, что и мне живется не лучше, чем тебе. В том-то и дело, что и я целую край усыпанной звездами ризы бога и спрашиваю его в тоске и мучениях:

– Что такое время? Что такое движение? Зачем я так бессмысленно и мало живу? И отчего каждый шаг моей жизни отравлен страданием? Даже иногда и сладким страданием? Милый мой, добрый пес, нам на это никто не даст ответа.

И может быть, он сам теперь плачет где-нибудь, обливаясь слезами, томясь от ужаса и боли и от того, что в нем проснулось сознание.

А может быть, все это до такой степени просто, что мы с тобой, с нашими мучениями, смешны? Может быть, сидит где-нибудь этакий хитрец и отлично знает, что все дело заключается в изящной, простой и очень несложной алгебраической формуле?

Сидит и знает, но из проказливости не расскажет нам с тобой, милый, черный песик Негодй.

Никогда не расскажет!

В Крыму (Меджид)

I

На краю пригородной деревни Аутки, там, где светлый горный ручеек, заключенный в свинцовую трубку, льется целый день серебряной переливчатой дугой и сладко плещется в каменном столетнем водоеме, под прохладной тенью столетнего ореха, там молодой ялтинский проводник Меджид моет по утрам трех лошадей: двух собственных серых жеребцов – Красавчика и Букета, и старого вороного коня, взятого им напрокат, на сезонное время, из гор. Накануне Меджид с другим проводником Асаном провожал большую кавалькаду на хребет Яйлы. Вернулся он домой далеко за полночь, и когда вываживал мокрых, холодных от пота лошадей по тихой и звучной улице, голубой в месячном свете, то шатался от сна и усталости. Не раздеваясь, лег он на ковре в кунацкой и, как ему показалось, только на секунду закрыл глаза, а когда открыл их, то был уже синий и золотой день, сверкавший зелеными улыбками.

Татарская девушка мыла белье в прозрачной луже, в которую по наружным стенкам стекала вода из переполненного бассейна. Положив на дощечку разноцветные тряпки, она с бессознательной грацией переступала по ним босыми маленькими ступнями, и в такт с движениями ее гибкого тонкого тела покачивались у нее на спине две жесткие черные косы, падавшие вниз из-под круглой бархатной шапочки, расшитой золотыми блестками. Теневые пятна и солнечные кружки тихо скользили взад и вперед, вкось, по ее бледно-смуглому лицу с прекрасными детскими глазами, а длинное темное платье, слегка зажатое между коленями, лучилось кверху красивыми складками. Обменявшись с Меджидом быстрым «селямом», она тотчас же уступила ему и его лошади место у фонтана: мужской труд – священное дело.

Светло-серый, почти белый, пожилой Красавчик с особенным удовольствием спокойно мочил в прохладной воде лужицы свои высокие, стаканчиками, копыта, натруженные вчера мелким камнем горячего шоссе. Нагнув вниз шею и вытянув вперед нежную белую голову с черными, ласково суженными глазами, он тянулся голым розовым храпом к воде и коротко взмахивал хвостом каждый раз, когда Меджид оплескивал его из ведра; серый, видный, в темных яблоках на крупе, пятилетний Букет играл на месте, разбрызгивая вокруг себя воду, отчего Меджид притворно грубо бранился и рукавом куртки вытирал брызги со своего лица. На вороного коня Меджид мало тратил забот: это была настоящая неприхотливая горная лошадка с железными ногами, привыкшая с грузом угля или дров по обеим сторонам седла спускаться с Яйлы и подыматься вверх по тропинкам, почти недоступным для средней руки пешеходов. Меджид только облил его два-три раза водою и звонко шлепнул по узкому, высокому, костистому, заблестевшему задку. И вороной вслед за двумя другими лошадьми, не торопясь, солидной рысцей потрясся в темную, холодную конюшню, плоская крыша которой была почти вровень с поверхностью земли и спускаться куда приходилось по довольно крутой наклонной плоскости.

У вороного коня вовсе не было имени. Да и Красавчика с Букетом Меджид назвал так пышно и невыразительно лишь в угоду курортным дамам, которые неизбежно, прежде чем сесть на жеребца, выносили ему, чтобы его задобрить, кусочек хлеба или сахару, трепали его боязливо по шее, целовали между ноздрей, точно этот поцелуй мог ему доставить какое-нибудь удовольствие, и спрашивали нежно: «Меджид, а как его зовут?»

Стройная, тонкая девушка, изящно поддерживая рукой на голове дощечку с бельем, следила за проводником из-за забора своими пугливыми восточными глазами. Она была уже с трех лет его невестой, и родители их дожидались, пока он не скопит достаточно денег для свадьбы. Но Меджид не торопился. Веселая, хвастливая, легкая жизнь проводника казалась ему сладким праздником, которому не будет конца.

Он сам засыпал лошадям овса – вороному поменьше, – велел матери починить ремень от уздечки и ушел поспешно, чтобы захватить линейку, которая через каждые четверть часа ходила из Аутки вниз на набережную.

Она только что отошла, но Меджид легко догнал ее и впрыгнул на ходу. Привычно веселило его утреннее чувство легкости, ловкости и молодости собственного тела. Усевшись, он победоносно осмотрелся налево и направо на соседей и, запрокинув голову, обернулся назад. Рядом с ним сидел старый татарин в чалме с кофейного цвета лицом, высоким выпуклым лбом и седой бородою. Меджид быстро заговорил с ним по-татарски, скаля радостно белые крепкие зубы и сияя черными счастливыми глазами.

II

На набережной, около часовни, было у проводников нечто вроде биржи. Там они расхаживали по утрам вдоль каменного парапета, облокачивались на его перила в красивых, рассчитанно-небрежных позах, или сидели на скамейках, развалившись, выставив картинно вперед свои мускулистые ноги с упругими выпуклыми ляжками. Более пожилые и бедные из них были одеты в традиционный татарский костюм, состоящий из широкой рубашки – белой, с чуть желтоватым оттенком, заправленной в широкие шаровары, перетянутые гораздо выше талии серебряным ремнем. У молодых же в этом году господствовала новая мода, введенная впервые Меметом, первым красавцем сезона, – синяя тесная, короткая куртка из диагонального сукна, такие же рейтузы в обтяжку и тонкие лакированные сапоги. Такая одежда не скрывала ни одной линии тела, а, наоборот, подчеркивала высоту груди, гибкость спины, тонкость талии и стройность длинных ног. Но независимо от лет и богатства, каждый проводник носил на голове круглую, невысокую барашковую шапочку, а в руке символ проводнического звания – хлыст. Это была настоящая живая выставка мужской красоты и молодости: прекрасные фигуры, матовая смуглость кожи, безукоризненно правильные очертания бровей, носов и губ, холеные черные усы и вьющиеся из-под сбитых набок шапок черные иссиня волосы, чудесные зубы, миндалевидные, темные, горячие южные глаза и гордые прямые шеи. Южный берег Крыма выслал сюда самые лучшие племенные образцы своей человеческой породы, происшедшей от необычайно счастливого смешения кровей: генуэзской, греческой и татарской.

Каждый день, проходя по набережной, толстые, пестро одетые московские купчихи-кутилки и наглые петербургские кокетки в рыжих искусственных локонах, со щеками, свинцовыми от пудры, разглядывали проводников сквозь лорнеты на длинных ручках, не торопясь, деловито и бесстыдно, как разглядывают опытные обжоры вкусный товар, разложенный за стеклом гастрономического магазина.

И молодые красавцы настойчиво выдерживали их взгляд, выпрямляя спины, делая внезапно серьезные, неподвижные глаза, мутные и обесмысленные, точно от страстного желания. Иные насвистывали в эту минуту сквозь зубы с каким-то многозначительным выражением и щурились глаза, и покачивали головой, и выстукивали хлыстом такт мотива по лакированному голенищу. Другие, идя близко за плечом дамы, предлагали лошадей для экскурсий, но предлагали так таинственно, вполголоса, с зазывающей интонацией, точно дело шло о каком-то запретном, соблазнительном, но неприличном предприятии.

Кумиром, недостижимым образцом был для Меджида проводник Мемет, и ему Меджид невольно старался подражать во всех внешних мелочах, в одежде, походке и манерах. Все, что касалось Мемета, было полно для Меджида героическим восхищением: и то, что он считался чрезвычайно образованным, почти ученым человеком, так как окончил четыре класса симферопольской гимназии, и то, что он носил отличное крахмаленное белье и множество брелоков и перстней, и то, что за ним уже бежала слава, в виде истории и легенды. Из-за Мемета подрались около морского музея две дамы – одна харьковская, другая москвичка, и обе купчихи; третью даму, жену известного коллекционера картин, Мемет сам, разыгрывая однажды сцену ревности и увлекшись, как хороший артист игрой, избил хлыстом в то время, когда она ехала в шарабане с другим проводником; с четвертой он взял две тысячи на излечение какой-то тайной болезни, а пятая купила его сестре, вышедшей замуж, землю с домом, а кстати, и Мемету подарила пару чудесных лошадей золотой масти «Изабелла» и щегольской соломенный фаэтон с ацетиленовыми фонарями.

Мемет был глубоко начитанный человек. Однажды он даже прочитал целиком, с начала до конца, – и это была истинная правда – «Героя нашего времени». Этот роман произвел на него сильное впечатление. С тех пор он нередко, прислонившись к фонарному столбу на набережной,

скрещивал на груди руки, морщил лоб в суровые вертикальные складки, наискось закусывал нижнюю губу и загадочно устремлял глаза вдаль. В эту минуту он ни о чем не думал; думал о том, что вот извозчик проехал, а вот дама прошла в галантерейный магазин, ветка мимозы качается от ветра, но сам перед собою он делал вид, что его душа погружена в этакую мрачную, беспросветную бездну. С женщинами наедине он бывал нестерпимо груб, с мужчинами услужливо и даже подобострастно вежлив, но когда говорил одновременно с мужчиной и женщиной, то глядел не на мужчину, а на его даму. Курортные модницы вышивали ему туфли и шелковые подтяжки и были в восторге от сумасбродного ревнивца Мемета, от бешеного, вспыльчивого Мемета, от красавца Мемета, с его разбитым и непонятым, но возвышенным сердцем. Таким они его захотели сделать, и таким Меметом он, в конце концов, стал считать самого себя.

Бедный Меджид и сам чувствовал, что ему далеко до его великолепного образа. Как он ни серьезничал, как ни принимал пластические, рассчитанно красивые позы, как ни старался сделать свое лицо значительным и загадочным – веселая щенячья молодость брала верх. Ему было повозиться с другим проводником на тротуаре набережной, под жарким сорокаградусным солнцем, побежать за прохожим, кривляясь и передразнивая его походку, поплевать бесцельно в море, перегнувшись через перила, ограждающие набережную. Но, увидев в эти шаловливые секунды Мемета, он тотчас же начинал сам перед собою важничать и внутренне разыгрывал Мемета, что ему легко давалось при подвижном, живом южном воображении. Он бескорыстно восхищался Меметом и беззлобно завидовал ему совершенно так же, как это делают гимназисты V класса по отношению к семикласснику, который уже и курит, и покучивает, и глядит на горничных свысока. Правда, и у Меджида в прошлом году был один очень серьезный роман, окончившийся даже увозом Меджида в Петербург, что, конечно, свидетельствовало о способности его внушать глупым северянкам пылкую любовь и что вообще хорошо поставило Меджида в среде проводников. Но тайная подкладка этого похищения была доподлинно известна только одному Меджиду, да и то сам перед собою он старался рисовать это приключение гораздо красивее и необыкновеннее, чем оно происходило в действительности.

III

Просто-напросто в Ялту приехала жена богатого протоиерея петербургской епархии, толстая сорокалетняя женщина, с лицом, белым от природы и от пудры, как булка, с двумя сладкими черными изюминками вместо глаз и с маленьким, вздернутым ртом, ярко окрашенным в пунцовый цвет. Бог весть каким тяжелым путем долголетнего клянчанья, тайных сбережений в чулок из домашней экономии, притворных обмороков и слезливых припадков, капризных отказов отцу протопопу в разделении супружеского ложа, беготни по специальным докторам, этим всегдашним пособникам и соумышленникам сорокалетних женщин, каким длинным, плетеным путем женской хитрости и настойчивости досталась ей эта поездка. Еще с января рассчитывали деньги, включая сюда и возможный приход за весь великий пост, меняли фунты и пуды церковных медяков на новенькие государственные билеты, разглядывали по будним вечерам всей семьей железнодорожный путеводитель, потом перед отъездом служили молебен о «в путь шествующих», вязали узелки с провизией и со всякой домашней требухой, на вокзале плакали и махали платками, и отец протопоп, забыв все свое внешнее благолепие, бежал по перрону рядом с идущим вагоном, – всхлипывая носом, развевая по ветру волосы, рукава и края рясы, придерживая одной рукой наперсный крест и крича: «В случае чего, телеграфируй».

Попадья на первых порах соблюдала в Крыму строгую, благоразумную экономию, поселилась где-то на горе, на краю города, в меблированных комнатах, похожих на те клетушки, в которых шарманщики носят морских свинок, перезнакомилась со множеством престарелых классных дам, учительниц и больных студентов, уверявших, что в Крыму можно жить ни капельки не дороже, чем в Петербурге, тряслась вместе с ними в дилижансах, где они сидели друг на друге, едучи в горы и к водопаду, покупала на набережной кизилевые тросточки, сердоликовые печатки и раковинки с надписью «Ялта» в подарок всем своим знакомым, карабкалась, обливаясь потом, по каким-то дурацким камням и тропинкам, которые, оказывается, необходимо посетить каждому путешественнику, мазала краской свое имя на разных скалах, пила отвратительную густую бузу, ела холодный жесткий шашлык, и – главное – все это у нее выходило очень дешево. Море в Ялте пахлодохлой рыбой и йодом и было похоже на грязную лоханку с

глинистой водой, улицы воняли конским навозом, от дешевых обедов язык и нёбо покрывались слоем бараньего сала, стройные красавцы кипарисы всегда были точно седые от мелкой пыли, в номерах пахло копотью керосинок и грязным бельем, но попадая на открытках, которые она посылала по три и по четыре штуки в день всем своим знакомым подругам по епархиальному училищу, которых она еще помнила, восторженно писала, что она наслаждается чудным морским воздухом и бальзамическим благоуханием горных лесов. И писала совершенно искренно. Какая-то бойкая вдова-полковница однажды подбила ее проехаться верхом, совсем недалеко, в Ореанду, к развалинам дворца. По романам, которые она читала в уличных петербургских газетах, по сплетням ялтинских салоппниц и, наконец, по тем откровенным, многозначительным взглядам, которыми на набережной черноусые проводники упирались в ее пышный трясущийся бюст, она знала, что поездка с проводником включает в себе нечто неприличное, рискованное... и заманчивое. Но полковница была такая «безусловно корректная женщина», а поездка оказалась такой совсем дешевой – по рублю с лошади и рубль проводнику, что странно было бы отказать себе в этом удовольствии.

Была маленькая боязнь за искусство держаться на седле, но протоиерейша храбро вспомнила, что когда-то в девичестве, на каникулах, она ездила на настоящем дамском седле в сопровождении двух лоботрясов, отчаянных гимназистов, сыновей местного помещика. Было также затруднение насчет амазонки. Напрокат Мария Николаевна не хотела брать: «Мало ли какая надевала ее до меня!» Но полковница быстро нашлась: стоило только прикупить материи, немножко надставить низ юбки, вшить внутрь несколько камешков-гладышей, и все готово: и незаметно, что подшито, и ног не будет видно, и не развеивается, и прилично, и гораздо лучше, чем всякая настоящая амазонка.

Мария Николаевна, конечно, была убеждена, что уже с ней-то, во всяком случае, проводник ничего себе не позволит! И они поехали втроем: она, полковница и Меджид.

Но Меджид сразу же, как только выехали из города на Ливадийское шоссе, стал позволять себе многое; показывая, как надо держать мундштучные и уздечные поводья, он то и дело накладывал свои маленькие, горячие, жесткие руки сверх пухлых, белых, дрожавших пальцев попады, поддерживал ее обильную, массивную талию при крутых спусках и сверкал ей прямо в глаза своими глупыми, красивыми, сияющими глазами, и от всего от него крепко пахло, точно от молодого центавра, запахом здорового лошадиного и мужского пота.

Древний запутанный парк был темен, сыр и молчалив, и нельзя было разглядеть вершин его столетних деревьев, сплетшихся в черный сплошной потолок. Лунные пятна изредка лежали на траве и на заросших дорожках. Иногда сквозь просветы густых ветвей сверкало море, струившее далеко впереди свой золотой и серебряный атлас. Где-то журчали невидимые ручейки, бежавшие с гор. Было невиданно сказочно-прекрасно, и немного жутко от тишины и мрака, и немного грустно и томно, как от всякой большой красоты. Осмотрели искусственное озеро, в черной воде которого, точно в черном воздухе, беззвучно и плавно, как заводной, плавал белый лебедь. Осмотрели мраморные развалины, поросшие плющом, кустами каприфолии, благоухавшей дико и страстно. Проводник показывал места, помогал идти, поддерживал под локоть, раздвигал услужливо ветви. Но, когда зашли в крытую виноградную аллею, такую темную, что нельзя было разглядеть собственной руки, полковница внезапно исчезла. Напрасно Мария Николаевна кричала ей – спутница не отзывалась. В темноте приходилось идти ощупью, и руки протопопицы то и дело нечаянно натыкались на горячие руки проводника, и она даже на расстоянии чувствовала живую, точно дышащую, теплоту его тела. Пряно благоухали каприфолии, как обезумевшие от ночной страсти кричали цикады, в груди ныло сладкое, истомное раздражение.

Потом они вышли из непроницаемо-темной аллеи наружу, туда, где было посветлее. Полковница тотчас же присоединилась к ним и пошла рядом, прижимаясь локтем к локтю Марии Николаевны, и жадно старалась сквозь темноту увидеть выражение ее глаз. Полковница находилась уже в том возрасте между зрелыми годами и старостью, в котором бывшие грешницы, со вздохом отказавшись от личных интрижек, становятся в чужих любовных делах или беспощадными сыщиками и судьями, или бескорыстными пособниками и укрывательницами.

Полковница принадлежала ко вторым...

I

«Замечательно умно! – думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых вверх ног. – Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие – взрослые!»

На улице горит газовый фонарь, и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке? – продолжает размышлять Даня. – Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большему, умными и воспитанными детьми... За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя... Заставят говорить все время по-английски... Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши, потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актерским, «давлучим», как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками... А коньков или лыж уж наверно не подарят... И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые... Вот и папа... он самый главный человек в городе и, конечно, самый ученый... недаром его называют городской головой... Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решил стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги, к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немножко посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаша, меховые ботинки, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта... опротивеет и гулянье! И непременно ведет его за руку, точно маленького, длинная мисс Джернерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые, краснощекие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! – вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. – Весь дом полон женщинами – тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка... женщины, ведь это те же девчонки, только старые... Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются – мышей, простуды, собак, микробов... И Даню тоже считают точно за девочку... Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, все это мечты, одни мечты... С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш принц». И прав-

да, Даня, когда был маленький, думал, что он – волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве.

II

Окно выходит в соседний двор. Станный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он прикидывается к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребят-шек. Над ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем.

Даня хорошо знает, что все это – детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки», и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слышал о местном древнем южном обычае: под рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам – знакомым и незнакомым, – поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету. Безумно смелая мысль мелькает в голове Дани, – настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съеживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане через океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу – сущие пустяки. Лишь бы только, на его счастье, старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей. Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошел по всей лестнице. Слава богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Черное небо, белый, скользкий нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости – все это, как сон!..

III

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик – «вертеп господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни. Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал баском:

– Господа, примите и меня-а-а...

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

– А на кой ты нам ляд?!

И тогда все заговорили разом:

– Иди, иди... Нам с тобой не ведено водиться...

– И не треба...

– Тоже ловкий... мы по восьми копеек сложились...

– Хлопцы, да это же иевлевский паныч, Гаранька, это – ваш?..

– Наш!.. – с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.

– Проваливай! – решительно сказал первый, осипший мальчик. – Нема тут тебе компании...

– Сам проваливай, – рассердился Даня, – здесь улица моя, а не ваша!

– И не твоя вовсе, а казенная.

– Нет, моя. Моя и папина.
– А вот я тебе дам по шее, – тогда узнаешь, чья улица...
– А не смеешь!.. Я папе пожалуюсь... А он тебя высекет...
– А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь... Иди, иди, откуда-то пришел. У нас дело товарисское. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь...
– Я и хотел вам денег дать... целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли... А теперь вот не дам!..
– И все ты врешь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.
– А вот нет – есть!..
– Покажи!.. Все ты врешь...
Даня побренчал деньгами в кармане.
– Слышишь?..
Мальчики замолчали в раздумье. Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:
– Ну-к что ж... Давай деньги – иди в компанию. Мы думали, что ты так, нашармака хочешь!.. Петь можешь?..
– Чего?..
– А вот «Рождество твое, Христе боже наш»... колядки еще тоже...
– Могу, – сказал решительно Даня.

IV

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель трупы – тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, – начинал сиплым и гнусавым голосом:

Рождество твое, Христе боже наш...

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

Воссия мирови свет разума...

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда-красна, как Христос родился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая толстая баба с веником и кричала грозно:

– Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые... Гэть!.. Кыш до дому!

Один раз на них накинута огромный городской, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы:

– Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стая воробьев после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штилеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно. Только на углу мальчишки остановились. Городовой и не думал за ними гнаться. Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворничьи. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм

Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всем на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу тетю Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

– Слава тебе господи, нашелся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка! Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городского, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног.

Тетя Нина – за одну руку, мисс Дженерс – за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах – бог знает какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние потеряв головы бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямоотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили завтра тяжелым наказанием и послали переодеться. Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком, с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

– А ведь Дане полезен воздух, – сказал отец, наблюдавший за ним издали, из кабинета. – Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик пробежался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика все время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись:

– Довольно, довольно! Будет... будет... Делайте, как хотите... Ох, уж эти мне женщины!..

В трамвае

Угол Невского и Литейного. Зима. Вечер. Оттепель.

Влажный туман поднимается из земли и давит улицу. Сквозь его завесу не видно домов, но огромными голубыми и оранжевыми пятнами сияют электрические фонари, багрово горят окна кинематографов, и вдруг вырастают золотые злобные глаза ревуших автомобилей. Пешеходы, экипажи, моторы, трамваи, мальчишки с ручными тележками, велосипедами сплошными лавами вливаются в этот перекресток, задерживаются и кружатся в нем, как в водовороте, и растекаются дальше. Шерсть на лошадях вскурчавлена и дымится. И над людьми колеблются их испарения.

Какая толпа! Точно весь город бесконечными лентами разворачивается перед глазами. Говор, смех, кашель, топот, звонки, окрики, гудки и непрерывное, головокружительное движение. Лишь в самом центре сутолоки, величественный и спокойный, как монумент, дирижирует толпою, при помощи своей белой палочки, краснолицый и толстый городской.

Мне сегодня некуда идти и нечего делать. Весь вечер я бродил по улицам, пока не зарябило в глазах. В душе у меня какая-то светлая, легкая и грустная пустота, и в памяти звучат, не отставая, чеканные стихи А. Блока о городе.

Трамвай останавливается, не доходя до перекрестка. Я вспоминаю о своей усталости и хочу сесть в вагон, отдохнуть. Но, боже мой, какая дикая, яростная орда осаждает вагонные ступеньки! Угрожающе поднятые вверх локти, цепляющиеся пальцы, теснящиеся бедра, лица, искривленные злостью и нетерпением. Ах, в эти хмурые, ослизлые петербургские вечера – как

бледны, противны и вульгарны бывают человеческие лица. Даже самые тонкие, самые нежные из них...

Господа мужчины! Интеллигенты! Джентльмены! Покровители слабых!.. Вопрос всего в пяточке – не толкайте женщин, не давите детей! Дамы! вы! украшение мира, лучшие перлы в короне создателя, образ ангелов на земле! Вообразите себе самих себя, лезущих на площадку с мужеством и манерами пожарного солдата, стремящегося по лестнице в огонь. Руки ваши растопырены врозь, шляпки на боку, а торопливо вздетый кверху подол платья позволяет видеть побуревший от уличной грязи край нижней юбки, и кончик другой нижней юбки из красного толстого гаруса, и тот глубокий ботинок на резинах, с торчащими ушками, который почему-то называется «уткой»... Подумайте, с какой грустью созерцает это зрелище случайный юноша-прохожий – в душе идеалист и романтик. Да не из чего было и ссориться. Вагон тронулся, и – посмотрите – все утряслось, умялось, расселись, всем хватило места. Недавнее озлобление по-немногу стихает в нас. Некоторое время все мы еще ненавидим, по инерции, почтенную даму, которая едет с пятилетним мальчуганом. Она за него не заплатила и, собственно говоря, должна была бы держать его на коленях, но она посадила его рядом с собою. Конечно, мы были бы вправе сделать ей замечание и потребовать... Но наши нервы уже отмякли. Да и мальчишка очарователен. На нем белая шапочка и белое пальтецо из мохнатого блестящего плюша. Такой прелестный белый медвежонок с розовой мордочкой и умными черными глазками.

Косимся мы также довольно неприязненно и на девушку от портнихи. У нее длинное бледное лицо худо кормленного подростка, вздернутый удивленный нос и пропасть веснушек. Она сидит на самом кончике скамьи с картонками на коленях, в обычной прямой и выжидательной позе швейки-ученицы, разносящей заказы. Она занимает слишком много места в проходе своим багажом. Можно было бы попросить ее на площадку. Но стоит ли? Так и быть, мы и ей прощаем. Все прощаем, кроме педагога, который сидит напротив меня и – я знаю – страдает давнишним расстройством печени. Я вижу, как он поглядывает на медвежонка и на швею. Если бы он мог рассчитывать на общее сочувствие, он давно восстановил бы законный порядок в вагоне.

Но мы уже благодущны. Время от времени нас, правда, соединяет общее чувство вражды к новым пассажирам, влезавшим в вагон на остановках. Вместе с ними к нам вторгается сырая уличная мгла... Стучит отодвигаемая и задвигаемая дверь, раздражая наши больные петербургские нервы... Приходится передвигаться с насиженного, привычного места... Но проходит минута-две, и пришельцы становятся как будто уже своими, и вместе с нами начинают ненавидеть новых, позднейших спутников, и вместе с нами привыкают к ним.

От нечего делать приглядываюсь к соседям, присматриваюсь к их ногтям, ушам, морщинам, подбородкам, наблюдаю мелкие движения их пальцев и глаз, когда они берут билеты и рассчитываются. Мне кажется, что теперь, издали, по одному только внешнему виду я острее проникаю в их души, чем мог бы это сделать после десяти лет тесного знакомства, которое медленно, но неизбежно ткет между близкими людьми непроницаемую стену взаимной лжи, компромиссов, лести, рабства, ревности, собственности, скуки, подавляемого раздражения и привычки. Вот сидит толстый седоусый отставной полковник. У него вздрагивающие щеки покрыты сетью мелких красных жилок, в ушах вата и на руках вязаные напульсники от ревматизма. Добрый человек, крикун и хлебосол. Любит собственноручно готовить шашлык и вышивает крестиками по канве. Вся жизнь его в прошлом, в службе, и он не прочь приврать о том, как была «у нас в полку». Барышня с «Musique» под мышкой: матовая, мечтательная бледность лица, усталые, светлые, многознающие столичные глаза, безмолвная влюбленность в профессора, чувственное влечение к музыке, мигрень, плохой желудок, шоколадные конфеты, неразборчивое чтение и малокровие.

Два подрядчика по малярной, а может быть, и по дровяной части. На толстых головах картузы; узко прорезанные глаза запухли от сна и жира, челюсти, как железные сковороды, мощные желваки на скулах, обросших рыжей курчавой шерстью. Оба они посетители бегов и темных трактиров, оба деспоты в семьях, истязатели детей, а набожны, не пропустят ни одного поста – ни Великого, ни Филипповок, ни Петровок, ни Спажинок, но оба способны задавить человека, как муху, за копейку, и притом отличные патриоты...

Вот старушка – маленькая, толстая. Все ее лицо исчерчено вдоль и поперек морщинами, а губы вечно движутся, точно жуют или шепчут заклинания, а веки подозрительных, живых и

быстрых глаз – глаз старой опытной мыши – красны и лишены ресниц. И ее я знаю отлично. Это – сутяга... Всегда вы ее встретите в суде – в коридорах, в канцелярии, в зале, всегда с векселями, претензиями, жалобами, встречными исками. Суд – ее алкоголь, морфий, гашиш, на который она ухлопывает последние крохи от своей жалкой пенсии и от продажи домика с мезонином. А откуда-нибудь, из Уржума или из Гадяча, ее пожилая, многодетная дочь, жена эскуатора, пишет ей письма с горьким упреком: «Мамаша, для вас судиться – одно развлечение, вроде театра, а вы подумали бы, что теперь зима, а мои ребятишки бегают без калош и кашляют».

Дальше сидит молодой, чистенький и юркий аптекарский ученик, а еще дальше – акушерка со своим специальным саком. За ней, ближе к углу, двое, – муж и жена, – оба крупные, мясистые, с большими твердыми лицами, – он земец, статистик, может быть, редактор журнала «Сыроварение», она – женщина-врач, с выпуклым, массивным, импонирующим бюстом. И он и она в пенсне. Смешная мысль приходит мне в голову. В минуты супружеских ласк они оба, должно быть, снимают свои стекла, и от этого у каждого глаза сразу становятся добродушными, мутными и косыми, а на переносице с двух сторон остаются красные рубцы. В самом углу, слегка прислонившись к стенке, полузакрыв глаза, спрятав руки в муфточку из серенького, шелковистого, нежного шиншилла, сидит дама или девушка, с милым-милым, ласковым лицом, созданным для улыбки счастья. А против нее златокудрый, румянощекий студент; у него ясные голубые глаза, облик красивого, простоватого и бойкого деревенского парня, но при этом – тонкие, изгибисто вырезанные, породистые ноздри. И вот я вижу, как он и она невинно и невольно ищут взглядов друг друга, встречаются на миг, точно нечаянно, глазами и сейчас же разбегаются, и опять стелкиваются, и опять уклоняются куда-то в сторону. Старая, как мир, знакомая каждому, наивная, прелестная игра! Но все пассажиры хранят упорное, настороженное, подозрительное молчание. Муж и жена – оба в стеклах – изредка шепотом обмениваются двумя словами и замолчат, озираясь искоса на чужих. Подрядчики прогулят что-то вполголоса, близко наклоняясь друг к другу картузами, и тоже замолчат, вздыхая, сонно оглядывая публику, вертя большими пальцами сцепленных на коленях рук. Нет! Будь в моей власти, и не бойся я наскочить на оскорбление, я бы оживил их всех. Я бы дал старому полковнику несколько чудесных рецептов от ревматизма и поговорил бы с ним о грязевых курортах. С супругами в стеклах длинно и скучно побеседовал бы о политике и о Думе. Выслушал бы внимательно и сочувственно о всех судебных передрыгах, постигших маленькую старушонку. Для того чтобы дать исход желчи, переполняющей печень педагога, я вынул бы медленно из кармана портсигар, методично достал бы оттуда папиросу, постучал бы ею о крышку и с невинным видом взял бы ее в рот. Воображаю, как он сразу пожелтеет, заблестит очками и зашипит на меня: «Здесь нельзя курить. Видите надпись!» Но я так же спокойно вытащу коробку со спичками и молча потрясу ею. Педагог из желтого делается бурым, потом красным и закричит: «Кондуктор, выведите этого нахала. Он позволяет себе курить в вагоне». Тогда с христианским смирением я выйду на площадку, буду курить и молча радоваться, что принес хоть минутное облегчение застоявшейся педагогической душе... А красивой девушке с муфтой и студенту, что сидит напротив, я сказал бы:

– Дети мои, вот я вижу, вы нравитесь друг другу – отчего бы вам не заговорить тут же, попросту, сердечно и весело.

Но кондуктор просовывает голову в вагонную дверь и возглашает:

– Бассейная улица!

И студент вышел, бросая последний робкий взгляд на соседку. Мне кажется, я вижу, как грудь его под форменным пальто незаметно, но глубоко вздыхает. Он выходит. Трамвай трогается. А дама поворачивается к окну, быстро протирает маленькой рукой в желтой шведской перчатке черное вспотевшее окно и глядит на улицу.

Право, все это как в жизни, в большой настоящей жизни, в которой так же бессмысленно теснятся и толкаются люди, так же подозрительно и злобно встречают вновь приходящих, так же пугливо и замкнуто, со взглядом исподлобья, жмутся к своим, к близким, уже привычным; так же приходят и испуг и обида от каждой мысли и каждого слова, высказанного в необычном порядке, и так же пропускают навеки из-за нелепых, мелочных житейских правил то величайшее счастье, которое озаряет сердца людей только благодаря случаю, мимоходом. И вот вся наша планета, прекрасная Земля, представляется мне маленьким трамваем, несущимся по какой-то загадочной спирали в вечность. Вагоновожатый впереди нее – не зримое никем, покорное своим таинственным законам Время. Кондуктор – Смерть.

Да и в самом деле: сравнительно с бесконечными веками, бывшими до нас, и теми, которые останутся после нас, – не одинаково ли коротки: наш путь в трамвае и наша человеческая жизнь!

– Синим билетам конец! – возглашает Судьба, просунув голову в дверь.

У меня как раз синий. «Конец так конец, – думаю я. – Ведь мне все равно было, куда ехать». И я выхожу из трамвая на улицу, в туман, тьму и грязь. Милая барышня с серебристой муфточкой! Клянусь вам, что жизнь страшно коротка. Теперь, в вашем возрасте, вы и представить себе не можете, до чего она мгновенна. Вы не бойтесь, я не скажу пошлой фразы резервного поручика: «А потому надо пользоваться ею вовсю», или: «А потому надо брать от нее все, что можно»... О нет, человеку надлежит быть целомудренным в любви, верным в дружбе, милостивым к больному и падшему, ласковым к зверям. Но если сердце вдруг неудержимо потянет вас за собою, не противьтесь его чудесной власти, не верьте ни советам дряхлого опыта, ни расчетам, ни принятым обычаям: верьте сердцу и идите за ним. Тело обманет, сердце – никогда. А когда настанет конец вашему билету, ступайте без ропота в темноту. Теперь вас, наверно, дома ждет обычный чай с крендельками и надоевшие картины на стенах, разговоры о театре, о литературе, о сегодняшних газетах. А там, на Главной Станции, – почем знать? – может быть, мы увидим сияющие дворцы под вечным небом, услышим нежную, сладкую музыку, насладимся ароматом невиданных цветов. И все будем прекрасны, веселы, целомудренно-наги, чисты и преисполнены любви.

Но об одном умоляю: не сходите с трамвая до полной остановки. Нерасчетливо, глупо и некрасиво.

По-семейному

Было это... право, теперь мне кажется порой, что это было триста лет тому назад: так много событий, лиц, городов, удач, неудач, радостей и горя легло между нынешним и тогдашним временем. Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола, под Александровской горкой, в номерах «Днепровская гавань», содержимых бывшим пароходным поваром, уволенным за пьянство, и его женою Анной Петровной – сущей гиеной по коварству, жадности и злобе.

Нас, постоянных жильцов, было шестеро, все – люди одинокие. В первом номере обитал самый старинный постоялец. Когда-то он был купцом, имел ортопедический и корсетный магазин, потом втянулся в карточную игру и проиграл все свое предприятие; служил одно время приказчиком, но страсть к игре совершенно выбила его из колеи. Теперь он жил бог знает каким нелепым и кошмарным образом. Днем спал, а поздно вечером уходил в какие-то тайные игорные притончики, которых множество на берегу Днепра, около большого речного порта. Был он – как все игроки не по расчету, а по страсти – широким, вежливым и фатальным человеком.

В номере третьем жил инженер Бутковский. Если верить ему, то он окончил лесной, горный, путейский и технологический институты, не считая заграничной высшей школы. И правда, в смысле всевозможных знаний он был похож на фаршированную колбасу или на чемодан, куда, собираясь в путь, напихали всякого тряпья сверх меры, придавили верхнюю крышку животом и с трудом заперли чемодан на ключ, но если откроешь, то все лезет наружу. Он свободно и даже без просьбы говорил о логике, об авиации, ботанике, статистике, дендрологии, политике, об ископаемых бронтозаврах, астрономии, фортификации, септаккордах и доминантах, о птицеводстве, огородничестве, облесении оврагов и городской канализации. Он запивал раз в месяц на три дня, когда говорил исключительно по-французски и по-французски же писал в это время коротенькие записочки о деньгах своим бывшим коллегам-инженерам. Потом дней пять он отлеживался под синим английским клетчатым пледом и потел. Больше он ничего не делал, если не считать писем в редакцию, которые он писал всюду и по всяким поводам: по случаю осушения болот Полесья, открытия новой звезды, артезианских колодцев и т. д. Если у него бывали деньги, он их рассовывал в разные книги, стоявшие у него на этажерке, и потом находил их, как сюрпризы. И, помню, часто он говорил (он картавил):

– Друг мой. Возьмите, прошу вас, с полки Элизе Геклю, том четвертый. Там между двухсотой и трехсотой страницами должны быть пять гублей, котогые я вам должен.

Собою же он был совсем лыс, с белой бородой и седыми бакенбардами веером.

В восьмом номере жил я. В седьмом – студент с толстым безусым лицом, заяка и пайныка (теперь он *прокурор с большой известностью*). В шестом – немец Карл, шоссежный техник,

жирный остзеец, трясущийся пивопийца. А пятый номер нанимала проститутка Зоя, которую хозяйка уважала больше, чем нас всех остальных, вместе взятых. Во-первых, она платила за номер дороже, чем мы, во-вторых, – платила всегда вперед, а в-третьих, – от нее не было никакого шума, так как к себе она водила – и то лишь изредка – только гостей солидных, пожилых и тихих, а больше ночевала на стороне, в чужих гостиницах,

Надо сказать, что все мы были и знакомы и как будто бы незнакомы. Одолжались друг у друга заваркой чая, иголкой, ниткой, кипятком, газетой, чернилами, конвертами и бумагой.

Всех номеров было в нашем прибежище девять. Остальные три занимались на ночь или на время случайными парочками. Мы не сердились. Мы ко всему привыкли.

Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру: река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый, низменный черниговский берег. Стояли теплые темные ночи, и перепалили короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся – и видишь, как они вдруг заблестели нежными, яркими первыми листиками.

Тут подошла и пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звон и пение, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть – сладкая, легкая и тихая, точно я жалел без боли об утраченной чистоте и ясности моего детства.

Когда я вернулся в номера, меня встретил наш курносый коридорный Васька, шустрый и лукавый мальчуган. Мы похристосовались. Улыбаясь до ушей и обнаруживая все свои зубы и десны, Васька сказал мне:

– Барышня с пятого номера велела, чтобы вы зашли до ее.

Я немного удивился. Мы с этой барышней совсем не были знакомы. – Она и записку вам прислала, – продолжал Васька. – Вон на столе лежит.

Я взял разграфленный листок, вырванный из записной книжки, и под печатной рубрикой «Приход» прочитал следующее:

«Глубокожамый № 8.

Если вам свободно и не по Брезгуете очень прошу вас зати ко мне У номер разговеца свяченой пасхой.

Извесная вам Зоя Крамаренкова».

Я постучал к инженеру, чтобы посоветоваться с ним. Он стоял перед зеркалом и с упорством всеми десятью пальцами приводил в порядок 'свои жесткие, запущенные седины. На нем был лоснившийся сюртук, выдавший виды, и белый галстук вокруг заношенного, порыжевшего с краю воротничка.

Оказывается, он тоже получил пригласительную записку. Мы пошли вместе.

Зоя встретила нас на пороге, извиняясь и краснея. У нее было самое заурядное, самое типичное лицо русской проститутки: мягкие, добрые, безвольные губы, нос немного картофелем и безбровые серые глаза навывкате – «лупетки». Но ее улыбка – нынешняя, домашняя, безыскусственная улыбка, такая застенчивая, тихая и женственная – вдруг на мгновение делала лицо Зои прелестным.

У нее уже сидели игрок и шоссейный Карл. Таким образом, за исключением студента, здесь собрались все постоянные обитатели номеров «Днепровская гавань».

Комната у нее была именно такая, какой я себе ее представлял. На комодке пустые бомбоньерки, наклеенные картинки, жирная пудра и щипцы для волос. На стенах линялые фотографии безусых и курчавых фармацевтов, гордых актеров в профиль и грозных прапорщиков с обнаженными саблями. На кровати гора подушек под тюлевой накидкой, но на столе, покрытом бумагой, вырезанной, как кружево, красовались пасхи, кулич, яйца, нога ветчины и две бутылки какого-то таинственного вина.

Мы похристосовались с ней щека об щеку, целомудренно и манерно, и сели закусывать. Надо сказать, что все мы в этот час представляли собою странное и редкое зрелище: четверо мужчин, в конец изжеванных и изглоданных неудачной жизнью, четверо старых кляч, которым в общей сложности было во всяком случае больше двухсот лет, и пятая – наша хозяйка – уже не-

молодая русская проститутка, то есть самое несчастное, самое глупое и наивное, самое безвольное существо на всей нашей планете.

Но как она была неуклюже мила, как, застенчиво гостеприимна, как дружески и деликатно проста!

– Получайте, – ласково говорила она, протягивая кому-нибудь из нас тарелку, – получайте и кушайте, пожалуйста. Номер шестой, вы, я знаю, больше пиво пьете. Мне Вася рассказывал. Так достаньте около вас под столом. А вам, господа, я налью вина. Это очень хорошее вино. Тенериф. У меня есть один знакомый пароходчик, так он его постоянно пьет.

Мы четверо знали все в жизни и, конечно, знали, на какие деньги был устроен весь этот пасхальный стол вместе с пивом и «тенерифом». Но это знание, однако, совсем не коробило и не угнетало нас.

Зоя рассказывала о своих ночных впечатлениях. В Братстве, где она отстояла заутреню, была страшная теснота, но Зое удалось занять хорошее место. Чудесно пел академический хор, а евангелие читали сами студенты, и читали поочередно на всех языках, какие только есть на свете: по-французски, по-немецки, по-гречески, и даже на арабском языке. А когда святили на дворе пасхи и куличи, то сделалась такая толкотня, что богомольцы перепутали свои припасы и перессорились. Потом Зоя задумалась, развздохалась и стала мечтательно вспоминать великую неделю у себя в деревне.

– Такие мы цветочки собирали, называются «сон», синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет.

А чтобы желтый был цвет, так мы луком яйца обертывали, шелухой, – и в кипяток. А то еще разноцветными тряпочками красили. А потом целую неделю ходили по селу и били яйцо об яйцо. Сначала носиком, потом ж. кой, кто перебьет другого, тот забирает себе. Один парнишка достал где-то в городе каменное яйцо – так он всех перекокал. Но когда дознались, в чем дело, то у него все яйца отняли, а самого поколотили.

И целую святую неделю у нас качели. Одни – большие посередь села: это общественные. А то еще отдельно у каждого ворот маленькие качели – дощечка и пара веревок. Так всю неделю качаются все – мальчишки и девчонки, и все поют: Христос воскрес. Хорошо у нас!

Мы слушали ее молча. Жизнь так долго и ожесточенно колотила нас по головам, что, казалось, навеки выбила из нас всякие воспоминания о детстве, о семье, о матери, о прежних пасхах.

Между тем коленкоровая занавеска на окне холодно поглубела от рассвета, потом стала темнеть и переходить в желтый тон и вдруг незаметно стала розовой от отраженного солнца.

– Вы не боитесь, господа, я открою окно? – сказала Зоя.

Она подняла занавеску и распахнула раму. Вслед за нею и мы все подошли к окну.

Было такое светлое, чистое праздничное утро, как будто кто-то за ночь взял и вымыл заботливыми руками и бережно расставил по местам и это голубое небо, и пушистые белые облака на нем, и высокие старые тополи, трепетавшие молодой, клейкой, благоухающей листвой. Днепр расстилался под нами на необозримое пространство – синий и страшный у берегов, спокойный и серебряный вдали. На всех городских колокольнях звонили.

И вдруг все мы невольно обернулись. Инженер плакал. Ухватившись руками за косяк оконной рамы и прижавшись к нему лбом, он качал головой и весь вздрагивал от рыданий. Бог весть, что делалось в его старческой, опустошенной и израненной душе неудачника. Я знал его прежнюю жизнь только слегка, по случайным намекам: тяжелая женитьба на распутной бабенке, растрата казенных денег, стрельба из револьвера в любовника жены, тоска по детям, ушедшим к матери...

Зоя жалостно ахнула, обняла инженера и положила его седую, с красной бугристой! плешью голову себе на грудь и стала тихо гладить его плечи и щеки.

– Ах, миленький, ах вы, мой бедненький, – говорила она певуче. – Сама ведь я знаю, как трудно вам жить. Все вы, как песики заброшенные... старенькие... одинокие. Ну, ничего, ничего... потерпите, голубчики мои... Бог даст, все пройдет, и дела поправятся, и все пойдет по-хорошему... Ах вы, родненький мой...

С трудом инженеру удалось справиться. Веки у него набрякли, белки покраснели, а распухший нос стал почти синим.

– Чегт! Негвы пгоклятые! Чегт! – говорил он сердито, отворачиваясь к стене.

И по его голосу я слышал, что у него в горле, во рту и в носу еще стоят едкие невылившись слезы.

Через пять минут мы стали прощаться и все почтительно поцеловали руку у Зои. Мы с инженером вышли последними, и как раз у самых дверей Зоино номера на нас наскочил возвращавшийся из гостей студент.

– Ага! – воскликнул он, улыбаясь и многозначительно вздернув брови. – Вы в-вон откуда? Гм... раззз-говелись, значит?

В тоне его голоса мы услышали определенную гнусность. Но инженер великолепно и медленно смерил его взглядом от сапог до верха фуражки и после длинной паузы сказал через плечо тоном непередаваемого презрения:

– Сссуслик!

<5 апреля 1910 г. >

Леночка

Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну, – в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное, – первый признак душевного увядания! – мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, – точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, по фамилии Возницын, – а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой на ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.

Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домово́й церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал – так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью, очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали...

«Да, да, да, это старость, – повторял он про себя и грустно кивал головою. – Старость, старость, старость... Ничего не поделаешь...»

После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру

страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.

В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бессельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.

Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», – подумал офицер с облегчением.

Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная – большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.

В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.

Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!» – звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.

Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиолы, тюльпаны и анютины глазки.

К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.

Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное – офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.

И вдруг, поравнявшись уже в двадцатый раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть

звякнув шпорами, произнес:

– Простите мою дерзость... но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы или, вернее... что когда-то, очень давно, были знакомы.

Она была совсем некрасива – безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестно изогнутыми линиями.

– И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись, – ответила она. – Моя фамилия – Львова. Это вам ничего не говорит?

– К сожалению, нет... А моя фамилия – Возницын.

Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницину показалось – вот-вот он сейчас ее узнает.

– Возницын? Коля Возницын? – радостно воскликнула она, протягивая ему руку. – Неужели и теперь не узнаете? Львова – это моя фамилия по мужу... Но нет, нет, вспомните же наконец!.. Вспомните: Москва, Поварская, Борисоглебский переулок – церковный дом... Ну? Вспомните своего товарища по корпусу... Аркашу Юрлова...

Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его.

– Господи... Неужели Леночка?.. Виноват... Елена... Елена...

– Владимировна. Забыли... А вы – Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля?.. Как странно! Какая странная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада...

– Да, – промолвил Возницын чью-то чужую фразу, – мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Александра Милиеина? Что Олечка?

В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей – Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на пасху и рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера и что офицер этот со странной фамилией Жéнишек – с ударением на первом слоге – как-то нелепо и неожиданно застрелился.

– Аркаша умер у нас в деревне в девяностом году, – говорила Львова. – У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерницей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии, и очень приличные. Я двадцать лет замужем, – она улыбнулась грустно сжатыми губами, одним углом рта, – старуха уж... Муж – помещик, член земской управы. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник и не развратник, как все кругом... и за это слава богу...

– А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то! – вдруг перебил ее Возницын.

Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.

– Какие глупости. Так... мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею...

– Ага! Вы все-таки ревновали меня немножко? – заметил Возницын с шутливым самодовольством.

– Вот уж ничуть... Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уже лет по семнадцати, тогда, пожалуй... мне немножко было досадно, что вы мне изменили... Вы знаете, это смешно, но у девчонок – тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим... Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете.

Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился: прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь уже поздно.

Были, конечно, разные увлечения, были и серьезные романы.

Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро-быстро проносилось прошлое, отделенное тридцатью годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по одиннадцати лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по десяти раз на дню происходили с Возницыным и Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться... Олечка держалась в стороне: она всегда отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в Благородное собрание, в театры, в цирк, на катки. Вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на пасху яйца и рядились на рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачки.

Так прошло три года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино, а когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она по-прежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который, бог знает каким чудом, приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий дог, большерукую, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под которым чувствовалась горячая, весело текущая кровь, плечи округлились, обрисовались бедра и точные, твердые очертания груди, все тело стало гибким, ловким и грациозным.

И отношения как-то сразу переменились. Переменились после того, как в один из субботних вечеров, перед всенощной, Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев, и медленно, удар за ударом, плыл редкий, меланхолический звон большого колокола Борисоглебской церкви.

Они сильно обвили друг друга руками крест-накрест и, соединив их позади, за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно:

– Оставьте меня... пустите... Я не хочу...

И прибавила со злым взглядом влажных, блестящих глаз:

– Гадкий мальчишка.

Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил под своими руками ее тонкую, послушную, женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам, он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких высоких девических груди и услышал запах ее тела – тот радостный пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера, после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари и в воздухе гудят майские жуки.

Так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. «Совсем наш Коленька охалпел», – добродушно говорила про него Александра Милиева.

Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере.

Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Е.

и Ю. и вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо, а Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой, с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но, как кошке, острящей свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно:

– Смотрите, Коля, я все маме расскажу.

И Возницын холодел от непритворного ужаса.

Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе, и, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства...

Пасхальную заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже свое почетное место, с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Милиевна с Олечкой остались святить куличи и пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно быть, дипломатически исчез – точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем.

Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми, послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движение в церкви, а на улице – это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, эта неожиданная близость и затерянность на улице, среди толпы, в поздний предутренний час.

Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их, и пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали.

Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным, ради грязи, между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы – такие теплые, нежные и живые.

– Леночка, я люблю, люблю вас...

Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду:

– Леночка, я люблю, люблю...

– Не надо, – сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. – Не надо... Пустите меня... пуст...

Милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы! Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи и вздыхала как-то особенно трогательно – часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы.

– Леночка... Люблю...

– Оставьте меня...

– Леночка!

И вдруг она воскликнула неожиданно сердито:

– Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, вот я все, все, все маме расскажу. Непременно!

Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето...

– А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? – спросил Возницын.

– Ничего я не помню... Гадкий мальчишка, – ответила она, мило смеясь. – Однако смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю... Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь...

– Леночка большая и Леночка маленькая, – сказал Возницын.

– Нет. Леночка старенькая и Леночка молодая, – возразила спокойно, без горечи, Львова.

Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девические годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком, темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен.

Девушка заинтересовалась плавучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз.

А он... чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью – сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себялюбия.

И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки-старшей и осторожно поцеловал ее.

– Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам, – сказал он задумчиво. – И кроме того, жизнь прекрасна. Она – вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын... Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе – и мертвые и воскресающие.

Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебрившийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.

<1910>

Искушение

– Вот вы все говорите: случай, случай... Да ведь в том-то и дело, что на всякий пустячный случай можно взглянуть поглубже.

Позвольте заметить, что мне теперь уже шестьдесят лет. А это – как раз такой возраст, когда человеку, после всех его метаний, страстей и бурления, остаются три пути: стяжательство, честолюбие и философия. Даже, собственно, два. Честолюбие, как-никак, а все-таки состоит в стяжании, накоплении и расширении мирских или небесных возможностей.

Философом я себя назвать, конечно, не смею: слишком громоздкий титул и... как-то не к лицу-с. К тому же всегда на меня можете цыкнуть: «А покажи твой багаж и твой аттестат!» Но зато прожил я жизнь чрезвычайно большую и весьма пеструю. Видел богатство, и нищету, и болезнь, и войну, и утрату близких, и тюрьму, и любовь, и падение, и веру, и безверие. И даже – хотите верьте, хотите нет, – даже людей видел. Это немудрено, по-вашему? Мудрено-с. Чтобы другого человека рассмотреть и понять, нужно первым долгом уметь совершенно забыть о собственной персоне: о том, какое пленительное впечатление произвожу я на окружающих и сколь я великолепен на лоне природы. А это мало кто умеет, уверяю вас.

И вот, грешный человек, люблю я на склоне моих дней поразмышлять над жизнью. К тому же я теперь одинок и стар; ночи-то наши, стариковские, знаете, какие длинные? А память и сердце сохранили мне живьем тысячи событий – своих и всяческих. Но одно дело пережевывать воспоминания, как корова крапиву, а другое – сопоставлять их умно и с толком. Что я и называю философией.

Вот мы с вами коснулись случая и судьбы. Охотно соглашусь с вами: случай бестолков, капризен, слеп, бесцелен, попросту глуп. Но над жизнью, то есть над миллионами сцепившихся случаев, господствует – я в этом твердо уверен – непреложный закон. Все проходит и опять возвращается, рождается из малого, из ничего, разгорается, мучит, радует, доходит до вершины и падает вниз, и опять приходит, и опять, и опять, точно обвиваясь спирально вокруг бега времени. А этот спиральный путь, сделав в свою очередь многолетний оборот, возвращается назад и проходит над прежним местом и делает новый завиток – спираль спиралей... И так без конца.

Вы, конечно, возразите мне, что если бы этот закон на самом деле существовал, – люди давным-давно открыли бы его и читали бы будущее, как по какой-нибудь картограмме. Нет, не то. Мы, люди, знаете ли, похожи на ткачей, посаженных вплотную около бесконечно длинной и бесконечно широкой основы. Какие-то краски перед глазами, цветочки, лазурь, пурпур, зелень, и все это бежит, бежит и уходит... но рисунка, по близости расстояния, нам не разобрать. Только людям, стоящим выше жизни, над нами, – гениальным ученым, пророкам, сновидцам, блаженным, юродивым и поэтам! М иногда удастся уловить в жизненной суматохе острым и вдохновенным взором начало гармоничного узора и предсказать его конец.

Вы находите, что я пышно выражаюсь? Не правда ли? Подождите, дальше будет еще курчавее. Конечно, если вам не скучно... Впрочем, что же и делать в вагоне, как не болтать?..

С законом, управляющим одинаково мудро как течением созвездий, так и пищеварением таракана, я охотно мирюсь, верю ему и благословляю его. Но есть Некто или Нечто, что сильнее судьбы.

Нечто, то я назвал бы его законом логической нелепости или нелепой логичности, как хотите... Я не умею выразиться. Если же это Некто, то это такой Дух, перед которым наш библейский дьявол и романтический сатана оказываются маленькими шутниками и совсем незлобивыми проходимцами.

Вообразите себе власть над миром, почти божескую, и рядом отчаянную мальчишескую проказливость, не ведающую ни зла, ни добра, но всегда беспощадно жестокую, остроумную и, черт возьми, как-то странно справедливую! Может быть, вам непонятно? Тогда позвольте высказаться пообразнее.

Возьмем Наполеона: сказочная жизнь, невероятно грандиозная личность, неистощимая власть, – и, глядь, под конец: крошечный островишко, болезнь мочевого пузыря, жалобы на пищу докторов, старческое брюзжание в одиночестве... Конечно, этот жалкий закат был только насмешкой, одной кривой улыбкой моего таинственного Некто. Однако вдумайтесь хорошенько в эту трагическую биографию, отбрасывая толкования ученых (у них ведь все объясняется просто и законно), и вот, не знаю, как вы, но я ясно вижу, что в ней уживаются рядом нелепость и логичность, а объяснить этого себе я не могу.

Генерал Скобелев. Крупная, красивая фигура. Отчаянная храбрость и какая-то преувеличенная вера в свою судьбу. Вечная насмешка над смертью. Эффектная бравада под убийственным огнем и вечное стремление к риску, какая-то неудовлетворенная жажда опасности. И вот – смерть на публичной кровати, в захватанном номере гостиницы, в присутствии потаскушки. Опять повторяю: нелепо, жестоко, но почему-то логично. Как будто обе эти жалкие смерти своим контрастом округлили, оттенили, дорисовали два пышных существования.

Древние знали этого таинственного Некто и боялись его (вспомните Поликратов перстень), но они ошибочно принимали его шутки за зависть судьбы.

Уверяю вас, то есть не уверяю, а я сам глубоко в этом уверен, что когда-нибудь, лет тысяч через тридцать, жизнь на нашей земле станет дивно прекрасною.

Дворцы, сады, фонтаны... Прекратится тяготение над людьми рабства, собственности, лжи и насилия... Конец болезням, безобразию, смерти... Не будет больше ни зависти, ни пороков, ни ближних, ни дальних, – все сделаются братьями. И вот тогда-то Он (заметьте, я даже в разговоре называю его с большой буквы), пролетая однажды сквозь мироздание, посмотрит, лукаво прищурясь, на землю, улыбнется идохнет на нее, – и старой, доброй земли не станет. Жалко прекрасной планеты, не правда ли? Но подумайте только, к какому ужасному, кровавому, оргиастическому концу привела бы эта всеобщая добродетель тогда, когда люди успели бы ею объесться по горло.

Впрочем, к чему нам такие пышные примеры, как наша земля, Наполеон и древние греки? Я сам улавливал изредка проявление этого страшного, неисповедимого закона при самых обы-

денных обстоятельствах. Хотите, я вам расскажу об одном простом случае, где я въявь почувствовал насмешливое дыхание этого бога?

Дело было так. Я ехал из Томска в общем вагоне первого класса. Со мной, в числе соседей, был молодой путейский инженер, чудесный малый, добродушный толстяк. Простоватое русское лицо, холеное и круглое, белобрысый, волосы ежиком, и сквозь них просвечивает розовая кожа... этакий ласковый, добрый йоркширчик! И глаза у него были какого-то мутно-голубого пороссячьего цвета.

Он оказался очень приятным соседом. Я редко видел таких предупредительных людей. Сразу он уступил мне нижнее место, сам помогал мне взгромоздить (Мой чемодан на сетку и вообще был так любезен, что становилось даже немного неловко. На станциях он запасался провизией и вином и с милым радушием угощал попутчиков.

Я сразу же заметил, что в нем кипит и рвется наружу какое-то большое внутреннее счастье и что ему хочется видеть вокруг себя людей также счастливыми.

Так это и оказалось на самом деле. Через десять минут он уже начал выкладывать предо мной свою душу. Правда, я заметил, что при первых же его излияниях соседи как-то неловко заерзали на своих местах и уж слишком преувеличенно-усердно начали наблюдать дорожные пейзажи. Впоследствии я узнал, что они слышали этот рассказ по крайней мере по десяти раз каждый. Их участи не избег и я.

Ехал этот инженер с Дальнего Востока, где провел пять лет, и, стало быть, не виделся пять лет со своей семьей, оставленной в Петербурге. Он, собственно, рассчитывал пробыть в командировке самое большее год, но сначала задержала казенная работа, потом подвернулось выгодное частное предприятие, потом оказалось невозможным оставить дело, которое стало уж чересчур большим и прибыльным. Теперь, ликвидировав все дела, он возвращался домой. Где же тут было обвинять его за болтливость: пробыть пять лет вдали от любимой семьи и возвращаться домой молодым, здоровым, с большой удачей и с неиспользованным запасом любви! Какой человек мог бы подавить в себе молчание, смирить этот страшный зуд нетерпения, которое возрастает с каждым часом, с каждой сотнею пройденных верст?

Я скоро от него узнал все семейные подробности. Его жену зовут Сусанной, или «Санночкой», а дочь носит странное имя «Юрочка». Он оставил дочку трехлетним ребенком. «Воображаю, – восклицал он, – теперь совсем уж барышня, – невеста!» Узнал я и девическую фамилию его жены, и все бедствия, которые они испытали вдвоем, когда он женился, будучи студентом последнего курса, не имея даже двух пар панталон, и каким прекрасным товарищем, нянькой, матерью и сестрой была в это время для него жена.

Он бил себя в грудь кулаком, краснел от гордости, сиял глазами и кричал:

– Если бы вы знали! Кр-расавица!.. Будете в Петербурге, я вас познакомлю. Непременно заходите ко мне, непременно. Без всяких церемоний и отговорок, Кирочная, сто пятьдесят шесть. Я вас познакомлю, и вот вы сами увидите мою старуху. Королева! У нас на путевых балах всегда была королевой бала. Ей-богу же, приходите, иначе обидите.

И всем нам он раздавал свои визитные карточки, где карандашом зачеркивал свой маньчжурский адрес и надписывал петербургский, и тут же сообщал, что эта шикарная квартира была нанята его женою всего лишь год тому назад по его настоянию, когда дела шибко пошли в гору.

Да... водопадом из него било! Раза по четыре в день на больших станциях он посылал домой телеграммы с ответом, уплаченным на другую большую станцию или просто в поезд номер такой-то, пассажиру первого класса такому-то. И надо было видеть его в тот момент, когда входил кондуктор и возглашал нараспев: «Телеграмма пассажиру первого класса такому-то». Уверяю вас, у него вокруг лица образовывался сияющий нимб, как у святых угодников. Кондукторов он награждал по-царски; впрочем, не одних только кондукторов. У него была непреодолимая потребность всех обласкать, осчастливить, одарить. Он и нам совал на память разные безделушки из сибирских и уральских камней, вроде брелоков, запонок и булавок, китайских колечек, нефритовых божков и другие мелочи. Были между ими вещи очень ценные как по стоимости, так и по редкой художественной работе, и, знаете, невозможно было отвязаться от него, несмотря на стеснительность и неловкость принимать подобные подарки, – так уж он убедительно и настойчиво просил. Ведь это все равно, как не устоишь, когда ребенок упрашивает вас взять у него конфетку.

С собой же он вез пропасть вещей как в багаже, так и в вагоне, и все это были подарки для

«Санночки» и для «Юрочки». Чудные вещи были: курмы китайские шелковые бесценные, слоновая кость, золото, миниатюры на сардониксе, меха, расписанные веера, лакированные шкатулочки, альбомы, – и надо было видеть слышать, с какою нежностью, с каким восторгом говорил он о своих близких людях, показывая эти вещи.

Пусть его любовь была немного слепа, чересчур шумна и слишком эгоистична, пусть она была даже чуть-чуть истерична, но клянусь вам, что сквозь эти условные и пошлые завесы я прозревал настоящую громадную любовь, – любовь острой и жгучей напряженности.

Тоже помню. На одной станции делали прицепку вагона, и стрелочнику, отрезало ступню. Немедленно вагонная публика, – самая праздная и дикая, самая жестокая публика в мире, – полезла глазеть на кровь. Но инженер, не останавливаясь в толпе, подошел скромно к начальнику станции, поговорил с ним немного и передал ему из бумажника какую-то сумму, должно быть, немалую, так как красная шапка была приподнята очень почтительно. Сделал он это чрезвычайно скоро: один только я видел его поступок, – у меня на эти вещи вообще глаз замечательный. Впрочем, видел я также и то, как «он, воспользовавшись задержкой поезда, успел все-таки юркнуть в телеграф».

Вот как сейчас помню его идущим поперек платформы: форменная белая фуражка на затылке; широкая, длинная рубаха-косоворотка из прекрасной чесучи; через одно плечо ремень с биноклем, через другое, накрест, ремень с сумкой, – идет – из телеграфа такой свежий, мясистый, крепкий и румяный, со своим видом раскормленного, простоватого деревенского парня.

И чуть большая станция – сейчас же ему телеграмма. Кондукторы так избаловались, что уже сами бегали справляться на телеграф, – нет ли для него депеши. Бедный мальчик! Не мог он скрыть в себе своей радости и читал нам телеграммы вслух, точно у нас и других забот не могло быть, кроме его семейного счастья. «Будь здоров, целуем, ждем нетерпеливо, Санночка, Юрочка». Или: «С часами в руках слежу по расписанию от станции до станции твой путь, душой и мыслью с тобой», – и все в этом роде. Ей-богу, была даже одна такая телеграмма: «Поставь часы по Петербургскому времени, ровно в 11 гляди на звезду Альфа Большой Медведицы, – я тоже».

Между нами был один пассажир – владелец, бухгалтер или управляющий золотого прииска, сибиряк, ликом вроде Моисея Мурина: сухое длинное лицо, густые черные суровые брови и длиннейшая, пышная седеющая борода, – человек, как видно, чрезвычайно искушенный жизненным опытом. Он осторожно заметил инженеру:

– А знаете, молодой человек, вы напрасно телеграммами так злоупотребляете,

– Что вы? Каким образом напрасно?

– А так, что нельзя же все время дамочку держать в таком приподнятом 'и взвинченном настроении. Надо и чужие нервы шадить.

Но он только рассмеялся и похлопал мудрого человека по колену.

– Эх, батенька, знаю я вас, людей старого завета. Вы в дорогу-то собираетесь тишком-тишком, норовите нагрязнуть нежданно-негаданно. А все ли, мол, у меня в порядке около домашнего очага? А?

Но иконописный человек только шевельнул своими бровищами и ухмыльнулся.

– Ну-к что ж. И это – иногда не вредно.

От Нижнего с нами ехали уже другие пассажиры, от Москвы – опять новые. Волнение моего инженера все нарастало, – что с ним было делать? Он умел быстро со всеми перезнакомиться. С женатыми людьми говорил о святости очага, холостым пенял на неряшливость и разор холостой жизни, с девицами сводил разговор на единую и вечную любовь, с дамами толковал о детках. И сейчас же переходил к своей Санночке и своей Юрочке. До сего времени у меня в памяти осталось, как его дочурка говорила: «А я в жолтыф сапогаф», «против нас ваптекарский магазин». И еще один разговор. Она тискала кошку, а кошка мяукала. Мать ей говорит: «Оставь, Юрочка, кошку, ей больно». А она отвечает: «Нет, мама, это кошке в удовольствие». И еще, как она увидела на улице воздушные шары и вдруг сказала: «Мама, какие они восторгательные!»

Мне все это казалось нежным, трогательным, но немного, признаюсь, и скучноватым.

Утром мы подъезжали к Петербургу. День был мутный, дождливый, кислый. Туман не туман, а какая-то грязная заволока окутывала ржавые, жидкие сосенки и похожие на лохматые бородавки мокрые кочки, тянувшиеся налево и направо вдоль пути. Я встал раньше, чтобы успеть умыться, и в коридоре столкнулся с инженером. Он стоял у окна и поглядывал то на дорогу, то на часы.

– Доброго утра, – сказал я, – что вы делаете?

– Ах, здравствуйте, доброго утра. Да вот я проверяю скорость поезда, – теперь идем около шестидесяти верст в час.

– По часам проверяете?

– Да. Это очень просто. От столба до столба, видите ли, двадцать пять сажен – двадцатая часть версты. Стало быть, если мы проехали эти двадцать пять сажен со скоростью четырех секунд, то часовая скорость равна сорока пяти верстам; если в три – то шестидесяти, а – в две – девяноста. Впрочем, можно узнать скорость и без часов, – нужно только уметь отсчитывать секунды: надо как можно скорее, но, однако, явственно, считать до шести, вот так: раз, два, три, четыре, пять, шесть... раз, два, три, четыре, пять, шесть... – это способ австрийского генерального штаба.

Так он говорил, бегая глазами и переминаясь на месте, но я, конечно, отлично знал, что весь этот счет австрийского генерального штаба – один только отвод глаз и что просто-напросто инженер обманывал свое нетерпение.

За станцией Любань на него даже жалко стало смотреть. Он на моих глазах побледнел, осунулся и как будто постарел. Он даже говорить перестал. Притворялся, будто бы читает газету, но видно было, что это занятие ему противно и тошно, да и держал он газету иногда вверх ногами. Посидит-посидит на месте минут пять и снова бежит к окну, и опять сядет и дергается на месте, точно подталкивает поезд вперед, и опять подойдет к окну в проходе и давай проверять по часам, – так и вертит головой влево и вправо. Ах, как я знаю, – да и кто не знает? – что дни и недели ожидания пустяки в сравнении с этим последним получасом, с последнею четвертью часа.

Но вот наконец семафор, бесконечная путаница пересекающихся рельсов, вот длинная деревянная платформа, бородатые артельщики в белых фартуках... Инженер надел свое форменное пальто, взял ручной сак и вышел на переднюю площадку. Я же выглянул в окно, чтобы крикнуть носильщика, как только поезд остановится. Из своего окна я отлично видел инженера, который также высунулся из открытой двери, что веет на ступеньки. Он заметил меня, закивал головой и улыбнулся, но я успел издали заметить, что он был поразительно, неестественно бледен в эту минуту.

Мимо нашего вагона мелькнула высокая дама в какой-то серебристой кофточке, в большой бархатной шляпе, под синей вуалью. Была с ней и девочка в коротком платье, с длинными ножками, в белых гамашах. Обе они тревожно посматривали, одновременно провожая головами каждое окошко. Но они пропустили. Я слышал, как инженер крикнул странным, глухим и вздрагивающим голосом:

– Санночка!

Кажется, обе обернулись. И вдруг... Короткий, страшный вопль... Никогда не забуду... Какой-то ни на что не похожий крик недоумения, ужаса, боли и жалобы...

На секунду я увидел голову инженера, без шапки, где-то между низом вагона и платформой, увидел не лицо, а его светлые волосы ежиком и розоватое темя, но голова только мелькнула, и больше ничего не осталось...

Потом меня допрашивали, как свидетеля. Помню, как я все пытался успокоить его жену, но что в таких случаях скажешь? Я видел и его: расплюснутый, исковерканный, красный кусок мяса. Он уже и дышать перестал, когда его вынули из-под вагона. Передавали, что ему сначала отрезало ногу, но он инстинктивно хотел поправиться, повернулся и попал под колеса грудью и животом.

И вот подходит самое страшное во всем том, что я вам рассказываю. В эти тяжелые, никогда не забываемые минуты меня ни на момент не оставляло странное сознание: «Глупая смерть, – думал я, – нелепая смерть, жестокая, несправедливая, но почему-то с самого первого момента, сейчас же после его ирика, мне стало ясным, что это непременно должно было случиться, что эта нелепость логична и естественна». Почему это было так? Объясните мне. Разве здесь не чувствовалась равнодушная улыбка моего дьявола?

Вдова его (я потом был у нее; она меня очень подробно и много расспрашивала о нем) так и говорила, то оба они искушали судьбу своей нетерпеливой любовью, уверенностью в свидании, уверенностью в завтрашнем дне. Что же... может быть... я ничего верного не знаю... На Востоке (а ведь это истинный кладезь древней мудрости) человек никогда не скажет, что он

намерен сейчас или завтра сделать, не прибавив «инш'алла», что значит: «Во имя бога» или же: «Да будет воля бога».

Но мне все-таки кажется, что здесь было не искушение судьбы, а все та же нелепая логичность таинственного бога. Ведь большей радости, чем это взаимное ожидание, когда, побеждая расстояние, они издали сливались вместе, – большей радости эти люди, наверное, никогда бы не испытали. Бог знает, что их ждало завтра! Разочарование? Утомление? Скука? Может быть, ненависть?

В клетке зверя

У меня был в Гатчине один настоящий друг – содержатель панорамы и зверинца, со входом в тридцать коп. для взрослых и пятнадцать коп. для детей и солдат.

Зверинец, правда, состоял из одного только боа-констриктора, скользкого, ленивого, холодного, объевшегося животного, страдавшего вечным запором. Его выползень до сих пор хранится у меня на стене в виде чешуйчатого прозрачного чехла, полутора сажень длины. Многое мне этот змеиный укротитель рассказывал во время перерывов между представлениями, а также в пивной поздним вечером, по окончании панорамы, и у меня дома, и среди игры на бильярде.

Он мне говорил о том, как у Гагенбека в Гамбурге дрессируют тюленей, львов, слонов и дикобразов. О том, что любая мышь слушается тонкого звука, произведенного втягиванием воздуха между сжатыми губами: этот звук издают крысиные жожаки, как сигнал к вниманию. О том, что любого слона можно навеки задобрить, давая ему понемножку, в продолжение недели, жевательного английского табаку, который продается в прессованном виде. Этого лакомого угощения слон никогда не забудет, и узнает вас хоть через пять лет, и затрубит вам навстречу.

И вот однажды мы разговорились с ним о закулисных цирковых драмах. – ...Да, да, да, – сказал он задумчиво. – Мне тоже приходилось читать рассказы из цирковой жизни. Все это неправда. Самый любимый мотив у писателей – это непременно месть покинутой женщины: подпиливается проволока, тушится не вовремя электричество, лошади дают отраву и так далее...

Конечно, неправда. У нас, у цирковых людей, совсем нет профессиональной зависти. Понимаете? Ежеминутный страх разбиться, искалечиться, быть укушенным или даже растерзанным – понимаете? – этот страх парализует всякую ревность. Если я тебе не помогу – ты мне тоже не поможешь... А наши женщины, вопреки вашей беллетристике, очень целомудренны и прекрасные матери и жены. Да ведь и то сказать... Ежедневная тренировка... Вечером работа в манеже, постоянное напряжение мускулов, потение, цирковые сквозняки, профессиональные ревматизмы... какой же тут темперамент? Еще у клоунов, именно у шпрех-клоунов – потому что они похожи немного на актеров – есть что-то вроде ревности, зависти и мести. У борцов – конечно. Но мы их презираем. Разве это искусство? Понимаете?

Но бывают случаи... Бывают, бывают... Благодарю вас. За ваше здоровье! Бывает так, что человек сидит в каких-нибудь три-четыре минуты. Всего хорошего!

У меня был один случай. Я работал с медведем. А у меня был около него человек

Яшка. Очень способный малый, и если бы не пьяница, то из него вышел бы прекрасный дрессировщик. Он знал, что я его рассчитаю к концу сезона. Меня в конюшне предупреждали, что он готовит мне какую-то Яшка. Очень способный малый, и если бы не пьяница, то из него вышел бы прекрасный дрессировщик. Он знал, что я его рассчитаю к концу сезона. Меня в конюшне предупреждали, что он готовит мне какую-то пакость, но я не обращал внимания. Своих зверей я всегда сам кормил.

Можете себе представить, что этот подлец сделал? Перед самым моим бенефисом, в самый вечер, он кинул Михал Потапычу в клетку только что зарезанного, еще трепыхавшегося голубя со связанными ногами. Можете себе представить, что этот подлец сделал? Перед самым моим бенефисом, в самый вечер, он кинул Михал Потапычу в клетку только что зарезанного, еще трепыхавшегося голубя со связанными ногами.

Как и всегда, вывожу я моего Мишку. И можете себе представить? Глаза совсем багровые, капризничает, не хочет делать ни одного номера. Кровь попробовал. А публика?

Вы знаете, что такое эта публика? Во время самого рискованного номера она начинает аплодировать, а когда показываешь им какой-нибудь пустяк, они шикают и затаивают дыхание. Я ничего не мог поделать с Михал Потапычем, и мне начали свистать. Вполне естественно, что я

разнервничался. Он стоит на задних ногах, ревет и – знаете, как это у медведей? – все старается дать мне пощечину, то левой, то правой лапой. А это значит – череп набок. Зрители думают, что все это так и надо. Но вот в партере закричал какой-то ребенок. Дети – вы понимаете – они те же зверята. Они чувствуют душой – не разумом. И вот начался переполох...

Конечно, медведь никому бы не принес никакого вреда: ну, примял бы кого-нибудь, оцарапал... настоящей жертвой мог бы быть только я. Но я в это мгновение понял, что сейчас, сию минуту произойдет толкотня, давка, стихийное умопомешательство.

Я не знаю ни одного животного, которое бы так глупо, бестолково и беспощадно вело себя в толпе, как человек. Ей-богу, лошади – и те куда умнее, на что уж глупые животные!

Все это я взвесил в одну секунду. Оглядываюсь назад – нет ни моих людей, ни шталмейстеров. Что мне было делать? Я начинаю его бить изо всех сил хлыстом по морде. Я вообще никогда не бью зверей, а Михал Потапыча даже никогда и не трогал: он был зверь очень умный, рассудительный и злопамятный, с большим чувством собственного достоинства. Правда, потом пришлось его пристрелить.

Он стоит на задних лапах и дерется. А я его хлещу. В это время у меня мысль: заманить его с манежа в коридор, и притом так, чтобы публика не перепугалась. И вот я пячусь задом, бью зверя, а он на меня и – чувствую – свирепеет с каждой секундой. В конюшне он на меня бросился и начал мять. Не помню, как его стащили – я был в обмороке, – но, слава богу, увел с манежа.

Таких случаев у нас бывает много. Потеря равновесия, не вовремя вывихнувшаяся рука, неудачный каскад, неожиданный каприз животных. Случается нам во время прямого и обратного сальто-мортале неудачно опереться на ноги, и – вот! – все в цирке слышат точно выстрел из детского пистолета. Это у человека лопнула ахиллесова пята, и человек навеки урод, калека, бремя для семьи; или же он будет скитаться по пивным и за пять копеек жрать рюмки и блюдечки и глотать горящую паклю. Но все это у нас не в счет. Понимаете?

Но вот когда я испытал настоящий ужас... и совершенно случайно, по пустякам.

Сейчас расскажу...

Был бенефис моего друга Антонио, музыкального клоуна. В тот день мы очень много пили. В этот сезон работала в цирке Зенида с ее львами. Вечер был необыкновенно удачный: смешной и веселый, и весь точно импровизация. Потом, когда публика уже разошлась, мы сидели с Антонио в моей уборной и пили какой-то очень жестокий коньяк по его рекомендации. Огни в цирке были уже потушены.

И вот, – как это ни смешно вам покажется, – выйдя из уборной, мы заблудились в коридоре. Отворяем одну дверь – уборная, отворяем другую – контора цирка, третья – опять чья-то уборная. Темно, бредем почти ощупью, очень весело настроены и, повторяю, оба пьяны.

Смеемся. Наконец я ощупываю какую-то дверную ручку. Вваливаемся. Инстинкт мне подсказывает, что здесь пахнет сырым мясом и звериным пометом. Ощупываю кругом – решетка. Почему-то нам приходит дурацкая мысль: сесть на пол.

Садимся, и вот я вижу в расстоянии двух-трех дюймов от себя пару зеленых горящих глаз. Потом я слышу чьи-то мягкие, бархатные, но тревожные шаги и биение могучего хвоста о железо решетки. Когда мы освоились с темнотой, то, вероятно, одновременно поняли, что залезли в клетку к зверям Зениды. Они нас не трогали. Давно известно, что у пьяных, у лунатиков и у детей есть какой-то особенный бережливый бог. Но мы отрезвились в одну секунду и, признаюсь, выползли из клетки на четвереньках, задом. Антонио как-то инстинктивно захлопнул дверь. Но он на другой день даже не мог об этом и вспомнить.

Никогда в жизни я не забуду этих мягких, вкрадчивых шагов, этого сдержанного звериного дыхания, этого отвратительного запаха сырого перегнившего мяса из невидимых пастей, этих фосфорических глаз, мелькавших в темноте то здесь, то там... Но чувства испуга ни я, ни Антонио не испытали в эту минуту. Только на другой день вечером, когда я вспомнил наше приключение, то один, лежа в кровати, задрожал и вспотел от ужаса. Понимаете?

<1910>

Попрыгунья-стрекоза

Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от ближайшей станции же-

лезной дороги и в двадцати пяти верстах от большого торгового села Тумы. «Тума железная, а люди в ней каменные», – так местные жители сами про себя говорили. Жили мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалью.

Представьте себе наше комическое положение: в нашем распоряжении двадцать три комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает вода и створки дверей покрываются инеем. Почта приходит то раз в неделю, то раз в два месяца, и привозит ее случайный мужичонка за пазухой своего зипуна, мокрого от снега, с размазанными адресами и со следами любознательности почтового чиновника. Вокруг нас столетний бор, где водятся медведи и откуда среди бела дня голодные волки забегают в окрестные села таскать зазевавшихся собачонок. Местное население говорит не понятным для нас певучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно. Оно убеждено твердо, что лес принадлежит богу и мужику, а управляющий имением немец-менонит из Сарепты, опустившийся и разленившийся от бездействия, только и знает, что ходит каждый день в лес отнимать топоры у мужиков-лесокрадов. К нашим услугам прекрасная французская библиотека XVIII столетия, но весь ее чудесный эльзевир обглодан мышами. А старинная портретная галерея в двухсветной зале, погибшая от сырости, плесени и дыма, скоробилась, почернела и потрескалась.

Представьте себе соседнюю деревню, всю занесенную снегом, представьте себе еще неизбежного в русской деревне дурачка Сережу, который ходит зимой почти голым, попа, который под праздник не играет в преферанс и пишет доносы, деревенского старосту – глупого, хитрого человека, дипломата и попрошайку, говорящего на ужасном «столичном» языке. Если вы все это себе представите, то вы, конечно, поймете, что мы дошли до скуки, до одурения. Нас уже больше не увлекали ни облавы на медведей, ни охота с гончими на зайцев, ни стрельба из пистолетов в цель, через три комнаты, на расстоянии двадцати пяти шагов, ни писание по вечерам совместных юмористических стихов. Признаться, мы перессорились между собою.

Да и то сказать: если бы нас спросили каждого поочередно, зачем мы приехали сюда, то, кажется, ни один не ответил бы на этот вопрос. Я в то время занимался живописью. Валериан Александрович писал символические стихи, а Васька увлекался Вагнером и играл призыв Тристана к Изольде на старых, разбитых, с пожелтевшими клавишами, клавикордах.

К Рождеству деревня вдруг оживилась. На Тристенке, в Бородине, в Брылине, Шустове, Никифоровском, в Козлах мужики начали варить пиво, то самое густое, тяжелое пиво, от которого чугунеет лицо и руки делаются как лубки. Между крестьянами, несмотря на преддверие праздника, было настолько много пьяных, что в Дягилеве сын проломил своему отцу голову, вырвав с этой целью стяг из забора, а в Круглицах опился до смерти какой-то древний старик. Рождество невольно увлекло нас. Первый визит мы сделали на Попиху: к попу и псаломщику, потом забрели ни с того, ни с сего к церковному сторожу Андрею, потом к двум сельским учительницам, а потом все пошло очень легко: от учительниц мы попали к доктору в Туму, потом к волостному писарю, где нас ожидал целый банкет, затем к уряднику, к хромоногому фельдшеру, потом к местному кулаку, Василию Егорову, который скупал со всей окрестности шкуры, холст, зерно, лес, кнуты, лукошки и веретена. И пошло и поехало!..

Нужно признаться, что мы чувствовали себя немного неловко. Мы никак не могли войти в темп этой жизни, которая устоялась в течение множества лет. Несмотря на нашу внешнюю развязность, мы все-таки были людьми с другой планеты. Выходило так, что мы наших соседей рассматривали в микроскоп, а они нас – в телескоп. Правда, мы делали попытки притвориться своими людьми, – такими веселыми малыми в русском стиле. Когда у псаломщика девица сорока лет, Анна Игнатьевна, с мозолистыми руками, которыми она обыкновенно сама запрягала шоколадного мерина и возила на салазках бадью с водой, которую сама же вытягивала обледевшей веревкой из вонючего колодца, – когда она вдруг на вечеринке делала стыдливый вид, потупляла глаза, разводила руки и пела:

Ондрей Николаевич,
Доступаем, доступаем мы до вас,
Беспокоить хотим вас, хотим вас.
Беспокой прошу, покорно приношу, –

Кого любишь, того выбери,
За собою поведи, поведи,
Молодой назови, назови

– тогда мы храбро целовали ее в самые губы, несмотря на ее притворное сопротивление и кокетливый визг, что, конечно, полагалось по обычаю. После этих насильственных поцелуйчиков мы все становились в круг: четверо отпускных семинаристов, псаломщик, экономка из соседнего имения, две сельские учительницы, урядник в штатской форме, дьякон, местный фельдшер и мы – три эстета, искавшие в то время аристократической, изысканной красоты в звуках, словах и красках. Стараясь держать себя возможно лучше, мы кружились в общем хороводе налево и направо при общем реве и топоте, в то время как герой, распорядитель танцев и местный лев семинарист Воздвиженский носился по всей комнате, выделявая балетные па и щелкая над головой пальцами.

Как во городе королевна, королевна,
По-загороду королевич, королевич,
Молодой сын-короличек гуляе,
Он гуляе,
Он невесту себе выглядает, выглядает, –
Не моя ли расхорошая гуляе, там гуляе,
Золотой перстень воссияе, воссияе.

Потом вдруг хоровод останавливался, и все начинали петь уже несколько в другом, торжественном тоне:

Растворились королевские ворота,
Король королевне поклонился,
Королевна ему еще ниже.

И тут фельдшер и псаломщица выступали друг против друга и низко кланялись друг другу, а хор продолжал:

Ты подвинься, сударчик, поближе,
Прижмись ко груди потеснее,
Поцелуй, поцелуй понежнее.

Наконец мы попали в министерскую тумскую школу. Этого нельзя было избежать: раньше там было около пятнадцати репетиций, на которых детей дрессировали, как ученых собак, и, кажется, особенно имели при этом в виду нас, петербургских гостей. Мы пошли. Елка сразу разожглась благодаря пороховому шнуру. Что касается программы, то я знал ее заранее наизусть... «Я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. – А кой те годочек? – Шестой миновал». Хотя надо сказать, что крошечный шестилетний мужичонка в огромной шапке из собачьего меха и в отцовских кожаных рукавицах об одном пальце – настоящий прирожденный артист – был очарователен со своей важной серьезностью и сиплым баском.

Остальное, нужно сказать, было очень гнусно сделано. В таком ложном народном духе.

Мне давно знакомы эти обычные номера: «Демьянова уха» в лицах, почему-то малорусские песни с исковерканным донельзя произношением, какие-то стишки слащавого дамского рукоделия, которые были исполнены хором: «Вот рождественская елка, днесь сегодня собрались, вот Петрушка, вот лошадка, вот и целый паровоз». Учитель, маленький, чахоточный человек, в длинном сюртуке и крахмаленном белье, одетом, очевидно, только на этот случай, то играл на скрипке, то дирижировал смычком, то задавал тон до-ми-соль-ми и время от времени стучал смычком по головам мальчишек.

Местный попечитель училища, нотариус из заштатного городка, от умиления жевал губами и высовывал толстый, точно у попугая, короткий язык, потому что вся эта дрессировка была

сделана в его честь.

Наконец учитель подошел к самому лучшему номеру своей программы. До сих пор мы смеялись, но тут нам пришлось почти заплакать. Вышла вперед маленькая девочка, лет двенадцати-тринадцати, дочь стражника, кстати, очень похожая на него лошадиным профилем и, конечно, первая ученица в училище, и начала:

Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела,
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза.

«Кумушка, мне странно это, – рассудительно заговорил шершавый мальчишка в отцовских валенках, так лет семи. – А работала ль ты в лето?»

«До того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас...» – ответила дочка стражника.

И вот тут-то и сказалось прославленное русское гостеприимство.

Стрекоза отвечает: «Я все пела».

И тут учитель Капитоныч взмахнул одновременно скрипкой и смычком, – о, это был эффект, давно подготовленный! – и вдруг таинственным полупшепотом весь хор начал петь:

Ты все пела, это – дело,
Так поди же попляши,
Так поди же, так поди же,
Так поди же попляши.

Мне вовсе не трудно сознаться в том, что в это время у меня волосы стали дыбом, как стеклянные трубки, и мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня, и даже больше, – что глаза полтора-миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: «Ты все пела, это – дело, так поди же попляши. Так поди же попляши».

Не знаю, как долго тянулось это монотонное, журчащее и в то же время какое-то злое и язвительное причитание. Но помню ясно, что в те минуты тяжелая, печальная и страшная мысль точно разверзлась в моем уме. «Вот, – думал я, – стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия – смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись – для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство – сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жесткое лоно природы. Да. В страшный день ответа что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: «Я все пела». И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: «Так поди же попляши»...

Я не знаю также, как это поняли мои товарищи, но из министерского училища мы вышли молча, не обменявшись впечатлениями.

Через три дня мы разъехались, и до сих пор между нами холодные отношения. Вышло так, как будто бы невинными устами этих сопливых мальчишек и девчонок нам произнесли самый тяжелый, бесповоротный смертный приговор. И когда я ехал обратно от стоешника Ивана Александровича Караулова до Горели и от Горели до Козлов и от Козлов до Зиньтабров и дальше по железной дороге, меня все время преследовал этот иронический, как будто бы злой, напев: «Так поди же попляши».

Только один бог знает судьбы русского народа... Ну, что же, если нужно будет, попляшем!
Я ехал целую ночь до станции.

На голых, обледенелых ветвях березы сидели звезды, как будто бы сам бог внимательной рукой украсил деревья. Я думал о том, что это красиво, но уже никак не мог, как и теперь не могу, отделаться от мысли: «Так поди же попляши»...

*L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2).
Largo Appassionato*

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, казалось, будто кто-то бежит по ним в подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбацких баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта – большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, – поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогелей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стайившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин – 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратить на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть, и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня

Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой – наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручках, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали – в третий раз за это лето – бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры – Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-каре́та, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покато́стью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая – Анна, – наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, – лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей – мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры – та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! – говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. – Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь – и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибой? Представь себе – резедой.

Вера ласково усмехнулась:

– Ты фантазерка.

– Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий – вот тот, что пишет мой портрет, – согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

– Художник – твое новое увлечение?

– Ты всегда придумашь! – засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

– У, как высоко! – произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. – Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

– Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

– Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость – просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом – такими они казались маленькими, – неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами.

– Я тебя понимаю, – задумчиво сказала старшая сестра, – но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

– Чему ты? – спросила сестра.

– Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе; узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады – как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше – море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось – я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мне все это надоед. Каждый день видим».

– Благодарю за сравнение, – засмеялась Вера, – нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

– Мне все равно, я все люблю, – ответила Анна. – А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

– Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, – очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

– Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и поцеловала сестру. – Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

– В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать – листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

– Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? – спросила она.

– Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

– Как странно, – сказала Вера с задумчивой улыбкой. – Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский *carnet*⁶. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

– Ты велишь здесь накрывать? – спросила Анна.

– Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

– Будет кто-нибудь интересный?

– Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

– Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна и всплеснула руками. – Я его, кажется, сто лет не видала.

– Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать – и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе – ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов – заказал знакомому охотнику – и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной, – увы! – неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

– Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

– Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского детуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

– Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, – сказал он с особенной поварской гордостью. – Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и уси-

⁶ Записная книжка (франц.).

ленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, – сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. – Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле?

– Делай, как знаешь. Ступай! – сказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой – за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, выдавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

– Точно... архиерея! – сказал генерал ласковым хриповатым басом.

– Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном легкого упрека. – Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

– Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, – засмеялась Анна. – Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

– Девочки... подождите... не бранитесь, – говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. – Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном... киселе, ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидиться... Как прыгаете?.. Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

– Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

– Не отчаивайся... все впереди... Молись богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Пойдите-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

– Я уже давно имел эту честь! – сказал полковник Понамарев, кланяясь.

– Я был представлен княгине в Петербурге, – подхватил гусар.

– Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщи-

ка.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время – как и до сих пор – он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за логи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, – неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, – черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, – сказал он, – но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877–1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован или, как он сам выражался, кончил только «медвежьей академией». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, – это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных, во время балканского перехода, пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. – должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами,

посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекал, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городской, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» — хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой — сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанны-

ми жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось – тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват – ничего не сказал по телефону».

Когда у Шейных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, – тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста – двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

– Что такое, Даша? – с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. – Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

– Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, – залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. – Он пришел и сказал...

– Кто такой – он?

– Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный...

– И что же?

– Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

– Подите и догоните его.

– Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась беспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

– Ну хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я

осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната – зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г.С.Ж. ».

«Показать Васе или не показать? И если показать – то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после – теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сестр играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

– Так нельзя! – сказала с комической обидчивостью Анна. – Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей – Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, – были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издала, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

– Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, – весело говорила Анна, щуя на офицера свои милые, задорные татарские глаза. – Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

– На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? – вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

– Благодарю... Но самое, самое мое больное место – это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

– О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

– Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкасть...

– Гм!..

– ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними – ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, – так можете представить – они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово – и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

– Анна Николаевна, – серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. – Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

– Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных походов храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

– Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, – говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. – Часть первая – детство. «Ребенок рос, его называли Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

– Никогда меня никто не называл Лимой, – засмеялась Людмила Львовна.

– Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога –
Явление страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот – критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер мало-душно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь с ней разделяйся ты,

А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

– Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, – объяснял серьезно Василий Львович. – Текст еще изготавливается.

– Это что-то новое, – заметил Аносов, – я еще этого не видал.

– Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

– Лучше не нужно, – сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придавал им настоящего значения.

– Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, kloчущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии – она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, постé рестантé»⁷. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью, – говорит он, – но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я, – увы! – я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов – наполненный его слезами...

– Господа, кто хочет чаю? – спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о

⁷ до востребования (искаж. франц. poste restante).

стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант хмурился от блаженства.

– Да-с... Осень, осень, осень, – говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. – Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

– И пожил бы у нас, дедушка, – сказала Вера.

– Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

– Спасибо, Верочка. – Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

– Пришли мы, помню я, в Бухарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» – спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

– Дедушка, скажите откровенно, – попросила Анна, – скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

– Как это странно, Анночка: боялся – не боялся. Понятное дело – боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково бояться. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает; отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

– Расскажите, дедушка, – попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому, древнему стереотипу.

– Рассказ очень короткий, – отозвался Аносов. – Это было на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

– Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, – сказала пианистка Женни Рейтер. – Вы, должно быть, смолodu очень красивы были.

– О, наш дедушка и теперь красавец! – воскликнула Анна.

– Красавцем не был, – спокойно улыбаясь, сказал Аносов. – Но и мной тоже не брезговали.

Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

— Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка.

— Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна, лукаво смеясь.

— Нет, нет, — роман был самый приличный. Видите ли: всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.

— А чего же вам больше? — возразил комендант.

— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

— Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю — любовь это была или иное чувство...

— Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина... Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь... Гусар, — обратился он к Бахтинскому, — ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

— И я пойду с вами, дедушка, — сказала Вера.

— И я, — подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

— Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

– Смешная эта Людмила Львовна, – вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. – Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

– Ну как же это так, дедушка? – мягко возразила Вера, пожимая слегка его-руку. – Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

– Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит – грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконикие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь – за дверями этикие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну, дай вам бог... Смотри только береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава богу, что детей не было...

– Вы простили им, дедушка?

– Простил – это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

– Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливый?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

– Ну, хорошо... скажем – исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей, и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, – я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

– Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо спросила Вера.

– Нет, – ответил старик решительно. – Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... так... какая-то кислота... одна жалость... Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

– Прошу вас, дедушка.

– Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, такая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок – морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим – все равно в будущем считай его погибшим. Это – штамп на всю жизнь.

К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных страстей. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем – «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы все говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу – вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом – и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

– Ох, какой ужас! – воскликнула Вера.

– Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей, и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... Стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас корбило. А муж – ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке – точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, – нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится – уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозинная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный – он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились.

Но *она* велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, – как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни.

Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

– Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

– О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается – и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви – единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

– О, конечно, конечно, дедушка...

– А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идола. Они будут попираť нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

– Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

– Разве вам интересно, дедушка?

– Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

– Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г.С.Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, – о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а – почем знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади слышалось зычное рывканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

– Анночка, я захватил твои вещи. Садись, – сказал он. – Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?

– Нет уж, спасибо, мой милый, – ответил генерал. – Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, – говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

– Я давно настаивал! – говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. – Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешились ими, как ребяташки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

– Переписки вовсе не было, – холодно остановил его Шеин. – Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

– Я извиняюсь за выражение, – сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

– А я не понимаю, почему ты называешь его моим, – вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. – Он так же мой, как и твой...

– Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, – так это только о добром имени Веры и твоём, Василий Львович.

– Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, – возразил Шеин.

– Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

– Не вижу, каким способом, – сказал князь.

– Вообрази себе, что этот идиотский браслет... – Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, – что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвататься своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное кольцо, а там – глядишь – сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князя Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

– Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! – воскликнул Василий Львович.

– Я тоже так думаю, – согласилась Вера, – и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

– О, это-то совсем пустое дело! – возразил пренебрежительно Николай Николаевич. – Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

– Ге Эс Же.

– Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскающего агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

– Что ты думаешь сделать? – спросил князь Василий.

– Что? Поеду к губернатору и попрошу...

– Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

– Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

– Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера.

– И правда, Вера, – подхватил князь. – Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам пойду к этому... юноше... хотя бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию.

– Тогда и я с тобой, – быстро прервал его Николай Николаевич. – Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои, – он вынул карманные часы и поглядел на них, – вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

– Мне почему-то стало жалко этого несчастного, – нерешительно сказала Вера.

– Жалеть его нечего! – резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. – Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

Х

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

– Подожди немножко, – сказал он шурина. – Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.

– Господин Желтков дома? – спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

– Дома, прошу, – сказала она, открывая дверь. – Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

– Войдите, – отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине – стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

– Если не ошибаюсь, господин Желтков? – спросил высокомерно Николай Николаевич.

– Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

– Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь:

– Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

– Благодарю вас, – сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

– Merci, – коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. – Мы к вам всего только на несколько минут. Это – князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дво-

рянства. Моя фамилия – Мирза-Булат-Тугановский. Я – товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

– Я к вашим услугам, ваше сиятельство, – произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич.

– Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, – сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. – Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

– Простите... Я сам знаю, что очень виноват, – прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. – Может быть, позвольте стаканчик чаю?

– Видите ли, господин Желтков, – продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. – Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

– Да, – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

– И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя – согласитесь – это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли?

– Да.

– Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? – кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было – обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что – повторяю – я сразу угадал в вас благородного человека.

– Простите. Как вы сказали? – спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. – Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

– Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? – обратился он к Шеину. – Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

– Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, – с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. – Врываться в чужое семейство...

– Виноват, я вас перебыю...

– Нет, виноват, теперь уж я вас перебыю... – почти закричал прокурор.

– Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

– Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

– Слушаю, – сказал Шеин. – Ах, Коля, да помолчи ты, – сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. – Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покотился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

– Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но... вот я

вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключение меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

– Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, – сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

– Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

– Идите, – сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

– Так нельзя, – кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. – Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

– Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. – Подумав, князь сказал: – Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

– Это декадентство, – сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блеснули и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шеин.

– Я готов, – сказал он, – и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие – это я *вам* говорю, князь Василий Львович, – видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

– Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, – закричал Николай Николаевич.

– Хорошо, пишите, – сказал Шеин.

– Вот и все, – произнес, надменно улыбаясь, Желтков. – Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

– Оставь меня, – я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», – вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо:

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать, мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *«Да святится имя Твое»*.

Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? – ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, – так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur, № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой

мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г.С.Ж. ».

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

– Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

– Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

– Он умер? – спросила Вера.

– Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

– Вот что, Васенька, – перебила его Вера Николаевна, – тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

– Нет, нет. Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

ХII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

– Кого вам угодно?

– Господина Желткова, – сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм – шляпа, перчатки – и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

– Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустила на него.

– Я друг вашего покойного квартиранта, – сказала она, подбирая каждое слово к слову. – Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

– Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья – прислуга – приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

– Расскажите мне что-нибудь о браслете, – приказала Вера Николаевна.

– Ах, ах, ах, браслет – я и забыла. Почему вы знаете? Он, перед тем как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай – так он и сказал: милый обычай – вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

– Вы мне его покажете? – спросила Вера.

– Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упрям, чтобы его похоронить по-христианску.

Прóшу, прóшу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, труп, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видала на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона.

– Если прикажете, пани, я уйду? – спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

– Да, я потом вас позову, – сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви – почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

– Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» – он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

– Покажите, – сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. – Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком:

«L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

– Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, – и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «*Да святится имя Твое*».

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою – одна молитва: «*Да святится имя Твое*».

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. «*Да святится имя Твое*».

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. «*Да святится имя Твое*».

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и

для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *«Да святится имя Твое»*.

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою – слава Тебе.

Вот она идет, все умиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясилось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахло звезды табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидела княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

– Что с тобой? – спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

– Нет, нет, – он меня простил теперь. Все хорошо.

<1910>

Королевский парк

Фантазия

Наступило начало XXVI столетия по христианскому летосчислению. Земная жизнь людей изменилась до неузнаваемости. Цветные расы совершенно слились с белыми, внеся в их кровь ту стойкость, здоровье и долговечность, которой отличаются среди животных все гибриды и метисы. Войны навеки прекратились еще с середины XX столетия, после ужасающих побоищ, в которых принял участие весь цивилизованный мир и которые обошлись в десятки миллионов человеческих жизней и в сотни миллиардов денежных расходов. Гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую и удесятил ее производительность. Машина свела труд к четырем часам ежедневной и для всех обязательной работы. Исчезли пороки, процвели добродетели. По правде сказать... все это было довольно скучно. Недаром же в середине тридцать второго столетия, после «великого южно-африканского восстания, направленного против докучного общественного режима, все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма, – бросилось и – бог весть, в который раз за долготлетнюю историю нашей планеты – разрушило и обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры.

Все мирное и сытое благополучие, предшествовавшее этому стихийному разгрому, пришло само собою, без крови и насилия. Земные властители молча и покорно уступили духу времени и сошли с своих тронов, чтобы раствориться в народе и принять участие в его созидательном труде. Они сами поняли, что обаяние их власти давно уже стало пустым словом. Недаром много столетий подряд их принцессы сбегали из дворцов с лакеями, обезьяньими поводьями, крупье, цыганами, таперами и бродячими фокусниками. И недаром же их принцы, великие герцоги, эрцгерцоги и просто герцоги закладывали наследственные скипетры в ссудных кассах, а тысячетлетние короны клали к ногам кокоток, а кокотки делали из них украшения для своих фальшивых волос.

Но многие из их потомков – слепо, гордо, бесстрашно и, по-своему, трагически уверенные в божественности и неиссякаемости власти, почиющей на них в силу наследственной преемственности, – отказались презрительно от общения с чернью и никогда не переставали считать себя повелителями и отцами народов. Они брезговали прибегнуть к самоубийству, которое

по-прежнему считали унижительною слабостью для лиц королевских домов. Они ни за что не соглашались омрачить сияние своих старинных гербов недостойным браком. И их изнеженные, тонкие и белые руки никогда не запачкались физическим трудом – этим уделом рабов.

Тогда народное правительство, давно уничтожившее тюрьмы, наказания и насилие, построило для них в роскошном общественном парке большой, светлый и очень удобный дом, с общей гостиной, столовой и залой и с отдельными маленькими, но уютными комнатками. Пропитание же и одежда определены им от доброхотных даваний народа, и бывшие владыки безмолвно соглашались между собою – глядеть на эти маленькие подарки, как на законную дань вассалов. А для того, чтобы прозябание венценосцев не было бесцельным, практичное правительство разрешает школьникам изучать историю прошлого на этих живых обломках старины.

И вот, собранные в одно место, предоставленные самим себе и своей бездеятельности, они медленно разрушаются телом и опускаются душою в общественной богадельне. Они еще хранят в своей наружности отблеск былого величия. Их породистые лица, утонченные и облагороженные строгим подбором в течение сотен поколений, по-прежнему отличаются своими покатыми лбами, орлиными носами и крутыми подбородками, годными для медальных профилей. Их руки и ноги, как и раньше, малы и изящны. Их движения остались величественными, а улыбки очаровательными.

Но это только на народе, перед посетителями парка... Оставаясь одни, в стенах богадельни, они превращаются в сморщенных, кряхтящих, недужных старичков, завистливых, бранчивых, подозрительных и черствых. Они садятся вчетвером за винт – два короля и два великих герцога. И пока идет сдача, они спокойны, вежливы и любезно предупредительны. Но давнишнее взаимное раздражение, всегда накапливающееся между людьми, долго и поневоле живущими вместе, скупость, нервность и вспыльчивость скоро перессорили их. И король сардинский, отхаживая отыгранные трефы, изысканно-любезно замечает герцогу сен-бернардскому:

– Надеюсь, ваше высочество, что вы не задержали, как в прошлую игру, одну трефу про запас?

А герцог отвечает на это с горечью:

Лишь происки врагов и общее падение нравственности заставляют меня жить в одной клетке с такой старой мартышкой, как вы, Sir.

И все они отлично знают, что у дамы бубен оторван уголок, а у девятки пик на крапе чернильное пятно, и, входя в маленькую сделку со своей совестью, тайно пользуются этими наивными приметами. И все они отлично знают, что у дамы бубен оторван уголок, а у девятки пик на крапе чернильное пятно, и, входя в маленькую сделку со своей совестью, тайно пользуются этими наивными приметами.

Изредка, во время обеда, они, как индюки сквозь сон, еще произносят веские фразы:

– Мой народ и моя армия...

– О, если бы вы знали, как обожали моего отца подданные... Они и до сих пор... Я могу вам дать прочитать письмо, полученное мною от моей партии... Не знаю только, куда я его девал...

– Да. И до меня дошли сведения, что у меня, в моих горах, идет сильное брожение...

– Люди должны же когда-нибудь одуматься и возвратиться к законному порядку вещей...

Но никто этого бормотания не слышал, и никто, даже услышав, ему не верил. У них у всех, взятых вместе, остался лишь один верный подданный, убежденный сторонник королевской власти – их глухой, полуослепший, Но никто этого бормотания не слышал, и никто, даже услышав, ему не верил. У них у всех, взятых вместе, остался лишь один верный подданный, убежденный сторонник королевской власти их глухой, полуослепший, почти столетний прислужник, бывший солдат.

Их мелочная, пустяковая жизнь вся переполнена сплетнями, интригами, взаимным подглядыванием и подслушиванием. Они засматривают друг другу в чашки и горшки, в столики, под одеяла и в грязное белье, Их мелочная, пустяковая жизнь вся переполнена сплетнями, интригами, взаимным подглядыванием и подслушиванием. Они засматривают друг другу в чашки и горшки, в столики, под одеяла и в грязное белье, упрекают друг друга болезнями и старческим безобразием, и все завидуют графу Луарскому, супруга которого открыла мелочную лавочку поблизости от морского порта и благодаря торговле имеет возможность покупать сигары своему державному мужу.

Их сыновья и дочери еще в отрочестве оставили их, чтобы утонуть, исчезнуть в народе. Но зато по праздникам принцев еще навещают их жены и совсем же дряхленькие матери, которым, как и всем женщинам, в обыкновенные дни прегражден доступ в «Дом королей». Они подбирают на улицах и на площадях се газетные и устные сплетни и ободряют своих старых детей несбыточными надеждами и вместе с ними слух мечтают о том, как они подымут в своей стране травосеяние и как нужно и важно для государства разведение чернослива, швейцарских роз, лимбургского сыра, спаржи и ангорских котлов. После таких разговоров бедные старые короли видят во сне фейерверки, парады, знамена, балы, торжественные выходы и ревущую от восторга толпу. А наутро многие из них осле беспокойного сна принимают горькую воду, вся богадельня от скуки следит за исходом лекарства.

И вот по-прежнему, как и тысячи лет тому назад, наступила весна. Что бы ни было – весна навсегда останется милым, радостным, светлым праздником, так же как остается ее вечным спутником яйцо – символ бесконечности и плодотворности жизни.

В «Парке королей» распустились клейкие благоухающие тополевы почки, зазеленели газоны и сладостно и мощно запахло обнаженной, еще мягкой землей, совершающей снова великую тайну материнства. А сквозь ветви деревьев опять засмеялось старое чудесное голубое небо.

Венценосцы выползли из своих комнаток на воздух и тихо бродят по дорожкам парка, опираясь на костыли. Весна, которая так томно и властно зовет куда-то молодые сердца, разбудила и в их старческой крови печальную и неясную тревогу. Но молодежи, заполнявшей в эти светлые дни прекрасный парк, они казались еще более далекими, странными и чужими – подобными загробным выходцам.

Старый, совсем одинокий, бездетный и вдовый король трапезундский, величественный старец с коническим, уходящим назад лбом, с горбатым носом и серебряной бородой до пояса, уселся на зеленой скамейке в самой дальней, уединенной аллее. Солнце и воздух пьяно разморили его тело и наполнили его душу тихой тоской. Точно сквозь сон слышал он знакомые фразы, которыми при виде его обменивались редкие прохожие:

– Это король трапезундский. Посмотри в национальном музее портрет его прапрадеда Карла Двадцать пятого, прозванного Неукротимым. Одно и то же лицо.

– Ты слышал о его предке Альфонсе Девятнадцатом? Он разорил всю страну в угоду французской актрисе, своей любовнице, и дошел до того, что сам продавал шпионам иностранных держав планы своих укреплений.

– А Людовик Кровавый?.. Двадцать тысяч человек в одно утро были расстреляны у казарменных стен.

Но гордая душа отринутого народом владыки не содрогнулась и не съежилась от этого зловещего синодика. Да. Так и нужно было поступать его предкам. Не только королевские желания, но и прихоти должны быть священны для народов. И посягающий на божественную власть – достоин смерти.

И вдруг он услышал над собою нежный детский голосок и поднял склоненную вниз белую голову.

– Милый дедушка. Отчего вы всегда такой скучный? Вас обижают кто-нибудь? Дедушка, позвольте вам подарить вот это сахарное яичко. Нельзя грустить в такой прелестный праздник. Вы поглядите, дедушка, – Милый дедушка. Отчего вы всегда такой скучный? Вас обижают кто-нибудь? Дедушка, позвольте вам подарить вот это сахарное яичко. Нельзя грустить в такой прелестный праздник. Вы поглядите, дедушка, здесь стеклышко, а за стеклышком барашек на травке. А когда вам надоест глядеть, вы можете это яичко скушать. Его можно есть, оно сахарное.

Король привлек к себе эту добрую, совсем незнакомую ему, светловолосую и голубоглазую девочку и, глядя ее голову дрожащею рукою, сказал с грустной улыбкой:

– Ах, дорогое мое дитя, милое дитя, у меня нет зубов, чтобы грызть сахар.

Теперь девочка в свою очередь погладила ручкой его жесткую морщинистую щеку и сказала тоненьким голоском:

– Ах, бедный, бедный дедушка. Какой же вы старенький, какой несчастенький... Тогда знаете что? У нас нет дедушки... Хотите быть нашим дедушкой? Вы умеете рассказывать сказки?

– Да, милое дитя. Чудесные старые сказки. Про железных людей, про верные сердца, про победы и кровавые праздники...

– Вот и славно. А я буду вас водить гулять, буду рвать для вас цветы и плести венки. Мы оба наденем по венку, и это будет очень красиво. Смотрите, вот у меня в руках цветы. Синенькие – это фиалки, – Вот и славно. А я буду вас водить гулять, буду рвать для вас цветы и плести венки. Мы оба наденем по венку, и это будет очень красиво. Смотрите, вот у меня в руках цветы. Синенькие – это фиалки, а белые – подснежники. Я вам спою все песни, какие только знаю. Хорошо? Я буду делиться с вами конфетами...

И странно: король, которого не могли поколебать ни доводы книг, ни слова политиков, ни жестокие уроки жизни, ни история, вдруг сразу всей душой понял, как смешна и бесполезна была его упрямая вера в отошедшее. Нестерпимо захотелось ему семьи, ласки, хода, детского лепета... И, целуя светлые волосы девочки, он сказал едва слышно:

– Я согласен, добрая девочка... я согласен. Я был так одинок во всю мою жизнь... Но как на это посмотрит твой папа...

Тогда девочка убежала и через минуту вернулась, ведя за руку высокого загорелого мужчину со спокойными и глубокими серыми глазами, который, низко опустив шляпу, произнес:

– Если бы вы согласились, ваше величество, на то, о чем болтает моя девчурка, мы были бы бесконечно счастливы, ваше величество.

– Бросьте величество... – сказал старик, вставая со скамьи и просто и крепко пожимая руку гражданина. – Отныне моего величества больше не существует.

И они все вместе, втроем, вышли навсегда из «Парка королей». Но в воротах старик внезапно остановился, и обернувшиеся к нему спутники увидели, что по его белой бороде, как алмаз по серебру, бежит светлая слеза.

– Не думайте... – сказал старик дрожащим от волнения голосом, – не думайте, что я буду... уж вовсе для вас бесполезен... Я умею... я умею клеить прекрасные коробочки из разноцветного картона...

И в восторге от его слов бешено бросилась ему на шею рыженькая девочка.

<1911>

Телеграфист

Зима. Поздняя ночь. Я сижу на казенном клеенчатом диване в телеграфной комнате захолустной пограничной станции. Мне дремлет. Тихо, точно в лесу. Я слышу, как шумит кровь у меня в ушах, а четкое постукивание аппарата напоминает мне о невидимом дятле, который где-то высоко надо мною упорно долбит сосновый ствол.

Напротив меня согнулся над желтым блестящим ясеневым столиком дежурный телеграфист Саша Врублевский. Тень, падающая от зеленого абажура лампы, разрезывает его лицо пополам: верх в тени, но тем ярче освещены кончик носа, крупные суровые губы и острый бритый подбородок, выходящий из отложного белого воротника.

С большим трудом я различаю глубокие глазные впадины и внутри их опущенные выпуклые веки, придающие всему лицу, так хорошо знакомому, некрасивому, милому, скуластому лицу, то выражение важного покоя, которое мы видим только у мертвых.

Саша Врублевский горбат. Я знаю только две породы горбатых людей. Одни – и это большинство – высокомерны, сладострастны, злобны, подозрительны, мстивы, скупы и жадны. Другие же, немногие, а в особенности Саша Врублевский, кажутся мне лучшими брильянтами в венце истинного христианства. Когда я беру в свои руки их слабые, нежные, чуткие и беспомощные ручки, у меня в сердце такое чувство, точно ко мне ласкается больной ребенок. И когда я думаю о Сашиной душе, она мне представляется чем-то вроде большой прекрасной бабочки, – такой трепетной, робкой и нежной, что малейшее грубое прикосновение сомнет и оскорбит красоту ее крыльев. Он кроток, бесребреник, ко всему живому благожелателен и ни о ком ни разу не отзывался дурно. Иногда он говорит мне с ласковой, чуть-чуть укоризненной насмешкой:

– Несправедливые вы люди, господа писатели. Как только у вас в романе или повести появится телеграфист, – так непременно какой-то олух царя небесного, станционный хлыщ, что-то вроде интендантского писаря. Поет под гитару лакейские романсы, крутит усы и стреляет гла-

зами в дам из первого класса. Ей-богу же, милочка, такой тип перевелся пятьдесят лет тому назад. Надо следить за жизнью. Вспомните-ка, как мы выдержали почтово-телеграфную забастовку, а ведь у нас большинство – многосемейные. Знаете, милочка, бедность-то везде плодуща, а жалованье наше – гроши. И если вышвырнут тебя из телеграфа с волчьим паспортом – куда пойдешь? Так-то, милочка. Мне сравнительно легко тогда было, я три языка знаю иностранных, в случае чего не пропал бы. А другие, милочка, прямо несли на это дело свои головы и потроха.

Никогда ему не изменяет его светлое, терпеливое, чуть приукрашенное мягкой улыбкой благодушие. Вот и сейчас: у него висит на ленте очень важная, срочная, едва ли не шифрованная телеграмма из-за границы, а он уже больше четверти часа никак не может ее отправить, и все из-за того, что главная передаточная станция занята с одной из промежуточных самым горячим флиртом. Телеграфист с передаточной загадал барышне с промежуточной какое-то слово, начинающееся на букву «л», и – такой насмешник! – стучит и стучит все одни и те же знаки:

.-...-...-...-

Но барышня никак не может отгадать этого трудного слова. Она пробует «лампу, лошадь, лук, лагери, лимон, лихорадку».

– Лихорадка – похоже, но не то, – издевается передаточная станция.

«Лира, лава, лак, луна, лебедь», – мучается недогадливая барышня.

Тогда Врублевский, которому надоело ждать, считает нужным вмешаться.

– Барышня, подайте ему – «люблю» – и освободите линию: срочная.

– Подождут, – легкомысленно возражают с передаточной.

Но Врублевский делает развязному телеграфисту строгое замечание и через минуту, не глядя на ленту, уже ловит привычным слухом покаянный ответ:

– Извините, товарищ, но вы сами были молоды и понимаете без слов.

Я вижу, как легкая улыбка раздвигает усы над толстыми, освещенными губами Врублевского. Ему самому не больше двадцати шести лет, но все сослуживцы относятся к нему, как к старику.

– Вот так они целыми вечерами и романсуют, – говорил он, перебирая ленту, закрутившуюся кудрявыми завитками. – Что же, дай бог. Кажется, у них дело серьезное. Он – славный мальчик, и Катерина Сергеевна – хорошая, работающая девушка. Устроятся вместе на станции, и лучше не надо. И как это прекрасно, что женщине наконец начинают давать настоящую работу. А то ведь раньше им, бедняжкам, прямо деваться было некуда. Сиди и вымаливай у бога жениха. Когда еще девушкой – отец ворчит: «Хлеб только даром ешь. Хоть бы нашелся какой-нибудь болван, взял бы тебя, сокровище этакое». А вышла замуж – пеленки, тряпки, кухня, роды, стирка, детей кормить надо. И муж орет: «Дармоедка, обед невкусный; только деньги тратить умеешь да ходить круглый год брюхатой. Поди сбегай за пивом и за папиросами...» А уж если, милочка, заработок общий, он уж так разговаривать не посмеет.

Саша умолкает и, поймав начало телеграммы, начинает сосредоточенно ее выстукивать. Лицо его с опущенными веками неподвижно, и только пальцы его правой руки едва заметно, но быстро и точно вздрагивают на клавише. Мной опять овладевает дремота, и опять я в тихом мутно-зеленом лесу, и опять где-то далеко старается над деревом неугомонный дятел. В это время я думаю о многих странных вещах. О том, что весь земной шар перекрещен, как настоящими нервами, телеграфными линиями и что вот сидит передо мной нервный узел – милый Саша Врублевский, безвестный служитель механического прогресса. Добру или злу он служит, счастью или несчастью будущего человечества? Телеграф был первым важным практическим применением таинственной силы электричества. Гораздо позднее появились телефоны, электрические лампы и кухни, трамваи, беспроволочный телеграф, автомобили, аэропланы. Но человечество идет вперед, все быстрее с каждым годом, все стремительнее с каждым шагом. Вчера мы слышали об удивительных лучах, пронизывающих насквозь человеческое тело, а почти сегодня открыт радий с его удивительными свойствами. Человек уже подчинил себе силу водопадов и ветер, – без сомнения, он скоро заставит работать на себя морской прибой, солнечный свет, об- лака и лунное притяжение. Он внедрится в глубь земли и извлечет оттуда новые металлы, еще более могущественные и загадочные, чем радий, и обратит их в рабство. Завтра или послезавтра, – я в этом уверен, – я буду из Петербурга разговаривать с моим другом, живущим в Одессе,

и в то же время видеть его лицо, улыбку, жесты. Очень близко время, когда расстояния в пятьсот – тысячу верст будут покрываться за один час; путешествие из Европы в Америку станет простой предобеденной прогулкой, пространство почти исчезнет, и время помчится бешеным карьером. Но я с ужасом думаю об огромных городах будущего, в особенности когда воображаю себе их вечера. На небе сияют разноцветные плакаты торговых фирм, высоко в воздухе снуют ярко освещенные летучие корабли, над домами, сотрясая их, проносятся с грохотом и ревом поезда, по улицам сплошными реками, звеня, рыча и блестя огромными фонарями, несутся трамваи и автомобили; вертящиеся вывески кинематографов слепят глаза, и магазинные витрины льют огненные потоки. Ах, этот ужасный мир будущего – мир машин, горячечной торопливости, нервного зуда, вечного напряжения ума, воли и души! Не несет ли он с собой повального безумия, всеобщего дикого бунта или, что еще хуже, преждевременной дряхлости, внезапной усталости и расслабления? Или – почему знать? – может быть, у людей выработаются новые инстинкты и чувства, произойдет необходимое перерождение нервов и мозга, и жизнь станет для всех удобной, красивой и легкой? Нет, милый Саша Врублевский, никто нам не ответит на эти вопросы, хотя ты сам, вот сейчас, сидя за телеграфным аппаратом, бессознательно куешь будущее счастье или несчастье человечества.

Но тут я замечаю, что Врублевский уже с минуту что-то говорит мне. Я стряхиваю с себя ленивое оцепенение, встаю и присаживаюсь за столик. Теперь мне совсем не видно лица моего приятеля, – между нами лампа и аппарат, – но моя рука лежит так близко около его руки, что я ощущаю исходящий из нее теплый ровный ток.

– Это вышло точь-в-точь как бывает в водевилях, – говорит он своим нервным, высоким, чуть хриплым, очень приятным голосом. – Она была влюблена по уши в моего товарища Деспот-Зинович-Братошинского, а я был влюблен в нее. Деспот же, городской лев и донжуан, порхал только с цветка на цветок и обедал и ужинал, по крайней мере, в десяти семействах, где были барышни-невесты. Однако он был чудесный парень, широкий и добрый человек. Его раздавил поезд, когда он был начальником станции Волчьей. Я об ее любви ничего не знал... Нет, это, пожалуй, неверно... Я... как бы выразиться... я в этом отношении точно заклеил воском свои глаза и уши. И вот она сидит за пианино, а я около нее сбоку. Она берет, не глядя на клавиши, какие-то аккорды, слегка повернув ко мне опущенную голову, и говорит об одном человеке, которого она любит, несмотря на его недостатки; говорит, что она скорее умрет, чем обнаружит перед ним свое чувство, что этот человек с ней исключительно любезен и внимателен, но что она не знает его мыслей и намерений, – может быть, он только играет сердцем бедной девушки, и так далее в том же роде. Я же, идиот, нахожусь в полной уверенности, что иносказательная речь идет обо мне, и с жаром уверяю ее, что, наоборот, «он» любит ее больше жизни, родины, чести и прочее. Он готов на все жертвы, и все в этом роде. Что касается недостатков, то к недостаткам привыкают, и так далее... Тогда она вся розовеет каким-то чудесным розовым сиянием, ресницы у нее влажны, и она шепчет едва слышно: «Благодарю вас, вы навсегда останетесь моим лучшим другом, но только, ради бога, ни одного слова ему, Деспоту». Я раскрываю рот, молчу несколько секунд, наконец, заикаясь и точно свалившись с луны, спрашиваю: «Почему же именно... ему... Деспоту?» Тогда она пристально вглядывается в мои глаза, мы сразу понимаем друг друга, и она внезапно разражается громким, долгим-долгим хохотом... Что ж, конечно, смешно, совсем как в водевиле. Но я хотел в эту ночь отравиться... Не отравился, а напился в клубе, как свинья, первый и единственный раз в жизни. А на следующий день я подал прошение о переводе сюда...

Он замолкает и прислушивается к стуку аппарата. Но зовут не его, и он продолжает:

– В другой раз была настоящая, не водевильная, а большая, нежная любовь с обеих сторон. Это случилось, когда я ездил позапрошлым летом в отпуск к себе в Житомир. Была лунная ночь с соловьями, с ароматами сирени и белой акации, с далекой музыкой из городского сада. Мы ходили по саду, – сад у них громадный, плодовый, – и я держал ее руку в моей. Она первая сказала мне, что любит меня и никого никогда не полюбит, кроме меня. Она говорила, что любит меня таким, как я есть, и что больше всего любит мою душу и... там разные милые, сладкие, волшебные слова. И вот мы вышли на открытое место, на площадку для гигантских шагов. Луна светила нам в спину, и на утопанной гладкой земле легли две резкие тени: одна – длинная, стройная, с прелестной, немного склоненной набок головкой, с высокой шеей, с тонкой талией, а другая – моя... Ну, вот... Тогда я закрыл лицо руками, забормотал что-то и убежал... Да, убежал, не прощаясь...

Полгода спустя она вышла замуж, а нынче утром я получил от нее письмо. Она счастлива, у нее сынишка, я, конечно, ее лучший друг на свете, и больше всего в жизни ей хочется, чтобы я крестил у нее ребенка. Она извиняется за то, что разбила мое сердце. Ну, это уж глупости. Я рад за нее, очень рад. Дай бог ей счастья... Если ей хорошо, то и я счастлив. Она дала мне хоть иллюзию, хоть призрак любви, и это истинно царский, неоплатный подарок... Потому что нет ничего более святого и прекрасного в мире, чем женская любовь.

Мы молчим с минуту. Потом я прощаюсь и ухожу. Мне идти далеко, через все местечко, версты три. Глубокая тишина, калоши мои скрипят по свежему снегу громко, на всю вселенную. На небе ни облачка, и страшные звезды необычайно ярко шевелятся и дрожат в своей бездонной высоте. Я гляжу вверх, думаю о горбатом телеграфисте. Тонкая, нежная печаль обволакивает мое сердце, и мне кажется, что звезды вдруг начинают расплываться в большие серебряные пятна.

<1911>

Белая акация

Является ранней редакцией рассказа «Большой Фонтан»

Дорогой старый дружище Вася!

А я вас все ждал и ждал. А вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, во-рвалась диссонансом в наше милое трио (вы, Зиночка и я)?

Успокойтесь же. Это тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это – «Халдейская женщина», из семейства «собаковых», *specias* – «халда *vulgaris*».

Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек проницательный и со вкусом, мог заключить такое чудовищное супружество? Ведь вы все хорошо заметили – не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон, и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и её картавое сюсюканье избалованного пятилетнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую она закатила нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам всем рты, наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное белье нашей семейной жизни – одностороннюю ссору, потому что – вы помните? – кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика, или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению.

Но еще удивительнее причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо, волшебство, очарование – называйте, как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота не чем иным, как этой проклятой, черт ее поберит, белой акацией.

Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями звезд в спящей воде спокойной реки, между камышами... со всеми ее чудесами и поэзией? Здесь, на юге, нет совсем весны. Вчера еще деревья были бледно-серыми от покрывающих их почек, а ночью прошумел теплый, крупный дождь, и, глядишь, наутро все блестит и трепещет свежей зеленью, и сразу наступило южное лето, знойное, душное, назойливое, пыльное...

И цветы здесь ничем не пахнут, или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой – капустой, жасмин – навозом.

Но белая акация – дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыхан-

ным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация.

Однако на другой день совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь город, благодаря какой-то моде, продушен теми сладкими, терпкими, крепкими, теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых, в самом деле, чихают и вертят носом собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами, или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть белую акацию. Ее белые, висячие гроздья повсюду: в садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках, они вплетены в гривы извозничьих лошадей, воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин, украшают вагоны трамваев и конок, привязаны к собачьим ошейникам.

Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все: люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы, влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, бурженники и лапетутники (две загадочные профессии, известные только Одессе), гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городовые, горничные, приказчики, биржевые зайцы, булочники, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации.

На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, – так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах – корь. Но свежему, приезжему человеку, На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно, – так же, как на природных жителей Кавказа слабо отражается болотная лихорадка, или на европейцах – корь. Но свежему, приезжему человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель.

Так случилось и со мной. Я нанял дачную комнатку на одном из бесчисленных одесских Фонтанов. У моих окон росла акация, ее ветви лезли в открытые окна, и ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ко мне на пол, на кровать и в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население. Юноши и девушки ходили друг к другу навстречу целыми сплошными, тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял оплошной треск семечек и любовный, бессмысленный говор, подобный болботанию тетеревов на токовище. И акация, акация, акация... Тут-то я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме.

Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками. Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола. У нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги: экземпляр свежий и экземпляр подержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухе на липкой бумаге. Было и сладко и противно... и чувствовалось, что не улетишь.

О том, как я признался, как я сделал предложение мамаше и как нас повенчали, – я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка.

Очнулся я только осенью, когда настали холода...

А теперь прошел год, и опять осень. Идет дождь, ветер дует в щели окон. Белая акация, – черт бы ее побрал! – облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивает беспорядочно вниз свои черные длинные стручья, и качает головой, и плачет слезами обиженной ростошницы... А я предаюсь грустным размышлениям.

Жена моя говорит: «тудою», «сюдою» и «кудою». Она говорит: «он умер на чахотку», «она выше от меня ростом», «с тебя люди смеются», «зачини фортку» (запри калитку), «я за тобой

соскучилась».

Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна, и она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский.

Она знает все, решительно все на свете: литературу, музыку, светские обычаи, науку, и дрожит в ожидании очередного номера Пинкертона. Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерибасовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке три или четыре часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама – неряха. Она хочет одеваться по моде, но так ее преувеличивает и подчеркивает, что мне стыдно с нею показаться на люди: мне все кажется, что ее принимают за кокотку. На улице она, как дома, ибо давно известно, что улица – родная стихия одессита.

Она скупа, жадна и обжора, она жестока и глупа, как гусеница, она терпеть не может детей и не уважает старости. Она ругается с женской прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне, и я вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки – одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с «Пересыпи» и «Молдаванки», и все они *одесситы*, и все они все знают и все умеют, и все они презирают меня, как верблюда, как вьючную клячу.

Она читает потихоньку мои письма и заметки и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневно истерику, симулирует обмороки, столбняки, летаргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом. И она же уверяет меня, что я – чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди?

Милый мой! Была бы в моих руках огромная, неограниченная власть – власть, скажем, хоть полицейская, – я приказал бы вырубить за одну ночь всю белую акацию в городе, вывезти ее в степь и сжечь. Вырывают же ядовитые растения, убивают вредных насекомых, сжигают зачумленные дома, и никто не видит в этом ничего диковинного!

Прощайте же, дорогой мой. Завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас аллах от чар белой акации. Обнимаю вас сердечно.

Ваш – прежде вольный казак, а теперь старый мул, слепая лошадь на молотильном приводе, дойная корова – NN.

<1911>

Начальница тяги

Самый правдоподобный святочный рассказ

Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилии, но вот его приблизительный портрет: высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна; бритое, точно у актера, лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять; седеющая грива, львиная голова, настоящий рот оратора, – рупор, самой природой как будто бы созданный для страстных, потрясающих слов.

Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренно расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминаниям.

– Ну, конечно, господа, – сказал он, – так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться... А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем... нет, виноват, вчетвером... нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали рождество... Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех святочных рассказов. Видите ли: жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного

вымысла...

Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину, в окрестностях Сиверской. Наутро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу, – настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек – милых, свободных, ничем не стесненных, – таких, с которыми себя чувствуешь в сто раз лучше, чем со взрослыми, и сам, незаметно для себя, становишься мальчуганом двенадцати лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного.

А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас – теперь он мировая известность – и третий, ныне покойник, – он умер четыре года тому назад или, вернее, не умер, а его съела служебная карьера.

Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу, – едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквях, на пароходах и на железной дороге.

По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички, даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уж с оттенком недружелюбия. Например: один чиновник ехал явно по бесплатному билету; я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию. Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это передетый министр, и мы перешли в первый класс.

Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет тридцати – тридцати двух, прехорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль.

– Куда вы лезете, разве вы не видите, что это купе занято?

Ах, боже мой, все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, а особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем полвагона с надписью: «Дамское отделение», в то время когда в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика, – сейчас же крики, скандал, «полное право» и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее «мужское отделение», стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переносу дамского общества», и завести на целую ночь утомительную трескотню, с визгами, игривым хохотом, ахами, ломаньем и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвращением фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали!» Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут, но, как и всегда, в пятисотый раз пробовали тронуть сердитую даму.

– Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал:

– Прелестная синьора... нам только три станции... если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног.

Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один?.. Может, она и

смиловилась бы. Но нас было трое. И, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжение двух минут она успела нас назвать: железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже... простите, барыня... поставщиками живого товара в Константинополь.

Потом, в своем гневе, она закричала:

– Кондуктор!

Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам.

Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить:

– Сударыня, вы едете одни... Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти – Сударыня, вы едете одни... Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот порт-плед, наконец, этот торт и банки с вареньем?

– Не знаю, – сухо ответила она и отвернулась к окну.

– Сударыня, – продолжал я тоном рабской мольбы, – вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости... Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь три станции... Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки? Ну, хотя бы из христианского милосердия.

– Не позволю... – ответила дама.

– Но ведь все равно вещи не ваши. Не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить.

Опять на нас повернулось красное, пылающее лицо.

– Ого! Попробуйте. Попробуйте только! Да вы знаете, с кем имеете дело? Нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаете. Я – начальница тяги! Я вас в двадцать четыре часа...

Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький, серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекогов. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет.

Когда поезд стал замедлять ход перед второй станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злобно шел за нами.

– Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат? – спросил третий, умерший.

– Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои.

– Позвольте узнать, – а чьи? – спросил старичок голосом малиновки.

– Не твое дело.

В это время поезд остановился. Вбежали носильщики. Дама велела одному из них, – она даже назвала его Семеном, – взять вещи.

Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась, как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила «Да! Вещи мои!» Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, эти вещи не мои! А вы – хулиганы!» Тогда мы говорили: «Сударыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи». – «Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи... а вы обращались с беззащитной женщиной, как свиньи!» Но тут уже выступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы два часа с лишком стояли на ногах (воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы первых двух классов!).

Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один

только старичок покачал. Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте.

Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать. Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать у сторожа, какая здесь лучшая гостиница, то есть где меньше клопов.

И вдруг слышим знакомый, но уже теперь славный, теплый голос:

– Господа, куда вы собираетесь? Оглядываемся. Смотрим – наша дама. И совсем новое лицо: милое русское лицо.

– Если вы не побрезгуете, поедemте ко мне на елку... Вы на меня не сердитесь... я все-таки женщина... А с этими железными дорогами просто голову растеряешь.

Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные. Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные друзья.

Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил:

– Правда, Анна Федоровна?

Густой смеющийся голос из темноты ответил:

– Бесстыдник. Язык у вас, у адвокатов, так уж подвешен, что не можете не переврать!..

<1911>

Чужой петух

Из записной книжки

У меня в Житомире было два знакомых пса. Одного из них звали Негодяй. Но об этой прелестной собачонке я так много писал, что, кажется, она должна была бы быть известна всей читающей публике. А другого кобеля звали Мистер Томсон. Должен сознаться, что я его похитил из одного очень почтенного семейства. Я его не увлекал ни колбасой, ни ветчиной, ни сыром, ни другими собачьими соблазнами, которые рассчитаны на ихний голод. Просто-напросто я ему сказал:

– Мистер Томсон, не угодно ли вам прогуляться?.. По пути мы можем встретить маленькую беленькую домашнюю кошечку. Попробуем ее укусить. А если это нам не удастся, и в особенности если она будет с котятами, то мы с тобой убежим... (И надо сознаться, что мы с ним очень часто пускались в постыдное бегство.) Мистер Томсон на это предложение охотно согласился, хотя сначала не доверял мне, потягивался, облизывался, выгибал спину и визжал.

Но поистине, в г. Житомире мы за очень короткое время сделали много веселых приключений...

Давно известно, что собаку ничто так не увлекает, как бродячая жизнь.

На театральных представлениях в ложе Мистер Томсон дремал у меня на коленях, но Негодяй почему-то считал нужным вмешиваться в актерскую игру, и, главное, в самые неподходящие, в самые трогательные моменты. Он не мог терпеть, ежели кто-нибудь кого-нибудь обижал. Он считал своим долгом вступить за слабого. Но тогда приходил господин околоточный надзиратель и говорил:

– Господин полицмейстер просит уйти Негодяя, а вместе с ним и его хозяина. Обыкновенно Негодяй бежал впереди извозчика и старался укусить лошадь за ноздрю.

В то же время он каким-то чудом успевал забежать во все соседние дворы, успевал пересорить всех собак между собою и разнести по всему городу всякие собачьи сплетни.

Бывали у него и критические моменты.

Иногда выскакивал из подворотни огромный старый, опытный бульдог и показывал Негодяю такие клыки, от которых прямо становилось страшно. Тогда Негодяй делал вид, что он пришел в чужой двор только из праздного любопытства и что он вообще очень порядочный молодой человек из хорошего семейства.

Тогда уже в дело ввязывался Мистер Томсон.

Я помогал ему слезть с подножки экипажа, он подходил к бульдогу и говорил ему на собачьем языке, к сожалению нам непонятном, несколько таких слов, после которых бульдог извинялся, краснел, опускал уши и обрубок хвоста... и с визгом уходил к себе обратно в подворотню.

Но, представьте себе, чужой петух оказался сильнее их обоих. Повадились к нам ходить с соседнего двора большой, жирный петух, фунтов около одиннадцати весом и самого неприличного поведения. Это бы еще ничего, если бы он приходил один, но он приводил с собою своих детей, внуков, правнуков и, кроме того, весь свой гарем. Более наглого петуха я никогда не встречал в своей жизни. Он точно нарочно издевался надо мною и над всеми моими цветоводными и сельскохозяйственными затеями.

Возмущенные его образом жизни, Мистер Томсон и Негодяй устроили на него правильную охоту. К сожалению, их усилия не сходились: у Мистера Томсона глаза становились рыжими и огненными, и он мчался за петухом со всей жалкой скоростью своих искривленных ног, но, конечно, никогда не мог догнать бедного петушка. Зато Негодяй, наоборот, все время старался загнать петуха на дерево, чтобы вдосталь полаять на него. Ничего не поделаешь – щенок.

И вот однажды Мистер Томсон, который давно уже глядел на чужого петуха огненными от злости глазами, сказал что-то Негодяю. И сейчас же Негодяй помчался с бешеной скоростью за петухом. Вздвигнувшись петух кричал то женским, то мужским голосом, махал крыльями, подобно авиатору. Его ничто не спасло.

В нужный, точно определенный момент Мистер Томсон с непостижимой для него ловкостью выскочил из жасминового куста, где он устроил западню, – и... белый петушок уже более не существовал. Мистер Томсон поймал его на лету, не на очень высоком расстоянии, но очень основательно. Бедный чужой петушок... Понятно, что на другой же день к нам явились соседи и с той и с другой стороны дачи – и обе стороны уверяли, что петух принадлежит именно им... Но я притворился, что петух умер естественной смертью, и заплатил той и другой стороне по-царски.

А бедного чужого белого петуха я отнес в ресторан и продал за пятнадцать копеек.

Путешественники

Пахнет весной. Даже в большом каменном городе слышится этот трепетный, волнующий запах тающего снега, красных древесных почек и размякающей земли. По уличным стокам вдоль тротуаров бегут коричневые стремительные ручьи, неся с собою пух и щепку и отражая в себе по-весеннему прозрачно-голубое небо. И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи.

Околоточный надзиратель Ветчина пришел домой поздним вечером. Всю ночь он провел в участке на ночном дежурстве, принимая пьяных окровавленных гуляк, проституток и воришек, выслушивал их лживые, бессмысленные, путанные, подлые показания, перемешанные со слезами, божбой, криками, земными поклонами и руганью, писал протоколы, приказывал обыскивать и нередко, озлобленный этим непрерывным пьяным бредом, удрученный бессонницей, раздраженный тесным воротником мундира, он сам выкрикивал страшным голосом дикие угрозы и колотил кулаком по столу.

А днем он должен был еще обходить не в очередь, в виде наказания, наложенного полицеймейстером, свои посты и торчать в лакированных сапогах и белых перчатках посередине самого людного перекрестка.

Спать ему приходилось только урывками, минутками, не раздеваясь, корчась на жестком и узком клеенчатом диване или сидя за столом, опустив голову на сложенные руки.

Даже и теперь, хотя он, придя домой, переоделся и умылся, от него пахнет улицей, навозом и тем отвратительным запахом ретирадного места, карболки и скверного табаку, которым пропитаны все помещения участка.

Он сидит один в маленькой столовой и вяло ест невкусный разогретый обед. Жены нет дома. Она отправилась сегодня к жене помощника пристава, чтобы вместе с нею идти в оперетку на бесплатные места. Сын-гимназист за стеною зубрит вслух французские слова. Мысли околоточного текут скучно и тяжело. Собачья служба. Ночи без сна. Омерзительные сцены в участке. Наряды на дежурство не в очередь. Нервы, как разбитое фортепиано. Вечные приступы беспричинной злобы, от которой точно захлебываешься, трясешься всем телом и так бледнеешь, что чувствуешь, как холодеет лицо и мгновенно высыхают губы. Общество сторонится. Приходится вести знакомство только между своими, а там вечный разговор о службе, о нарядах, о грабежах, о сыскной полиции, а в промежутках – винт и выпивка. Жалованье – гроши. Поневоле берешь праздничные или вымогаешь провизией. Другим легче. У других все-таки хоть в семье наладилось что-то вроде уюта и спокойного отдыха. У Ветчины и этого нет... Жена дома ходит неряхой, распустехой, но для гостей и для театра шьет дорогие платья, поглощающие все жалованье. Ни семья, ни кухня, ни служба мужа, ни ученье сына ее не интересуют. Придешь со службы усталый, весь разломанный, точно коночная лошадь, а жены нет дома, или она в старом капоте валяется часами на диване с переводным романом в руках и с коробкой шоколада рядом, на стуле. Была она когда-то институткой, тоненькой, наивной девочкой, верившей, что французские булки растут на деревьях и что у каждого человека стоят сзади два ангела, справа белый, а слева черный. Теперь она растолстела и огрубела, хотя все еще красива грузной и яркой красотой тридцатипятилетней женщины; она перестала верить в булки и в двух ангелов, но каждый день кричит мужу, что он испортил ее жизнь и теперь пусть достает деньги где хочет и как хочет.

Испортил жизнь! Это еще вопрос, кто кому испортил. Благодаря ее глупой, корыстной и скандальной связи с инженером, строившим полковые казармы, Ветчину, по приговору общества офицеров, попросили уйти из пехотного полка, в котором он служил. Куда было идти, кроме полиции, если у человека нет ни влиятельной родни, ни денег? И мужа она давно не любит. Если он порою разнежничается или попытается пожаловаться на тернии полицейской службы, она, не отрываясь от книжки, тянет брезгливо: «Ах, да оставьте вы меня, ради бога, в покое. Минуты от вас нет свободной». И под предлогом каких-то вечных женских болезней, утомления или того, что от мужа всегда пахнет участком и конюшней, она уже давно изгнала Ветчину из спальни в кабинет, где ему стелют на оттоманке. И всегда у нее увлечения. О жизни в полку – нечего говорить. Потом студент, Колин репетитор. Он, Ветчина, только хлопал тогда глазами, ревнуя, мучась и сам стараясь не верить своим подозрениям. Теперь-то он хорошо знает о прошлом, потому что ту же самую игру томными глазами, те же длинные рукопожатия, те же самые нервные, вибрирующие интонации в голосе он наблюдает сейчас между Верой и помощником пристава, бароном фон Эссе.

Что подделаешь? Надо терпеть. Фон Эссе перешел в полицию из гвардии, теперешняя должность только для вида, через год он будет приставом, а года через два полицмейстером в большом торговом университетском городе, а там, почем знать, и градоначальником. Связи у него громадные, и, конечно, он потянет за собою Ветчину. Ну что же, и будем терпеть, ослепнем, оглохнем на время. И все это ради него, ради милого Коленьки. Куда же пойдешь из полиции? И пусть ему, Ветчине, служить тяжело, оскорбительно и противно, пусть от ревности и злобы у него ходят в глазах радужные круги и скрипят зубы. Все перетерпим. Но зато Коля вырастет настоящим человеком, а Ветчина пробьет ему своим телом и своей душой широкую дорогу в жизнь. Коля трудолюбив, замкнут, серьезен, горд и знает цену деньгам. Без денег разве человек – человек? Коля будет доктором с громадной практикой или знаменитым адвокатом, из тех, что загребают стотысячные куши и ездят в собственных экипажах. Никого нет у Ветчины, кроме обожаемого Коли, – никого: ни жены, ни родни, ни дружбы, ни увлечений, ни мелких страстишек, и ради Коли он пойдет на все: нужно будет убить – убьет, прикажут истязать кого-нибудь – будет истязать, с усердием пойдет на подлость и на предательство, проглотит молча жгучее оскорбление... Он и Коля. Больше никого нет на свете. Ко всему остальному живущему сердце Ветчины ожесточилось и окаменело.

– Коля, иди чай пить! – кричит околоточный надзиратель.

Коля, волоча ноги, приходит с учебником. Отец и сын очень похожи друг на друга. Оба они длинноногие, длинноносые и угрюмые, у обоих худые белые лица в веснушках и светлые, жидкие, мягкие волосы. Между ними – глубокая, нежная, но в то же время серьезная и молчаливая привязанность.

Коля пьет чай и с сухарем во рту рассказывает об уроках в гимназии. Говорит деловито и толково, как взрослый, голос у него по-мальчишески басистый с неожиданными петухами. Ветчина слушает и из хлебных крошек вырисовывает на скатерти звездочки и орнаменты. В комнате жарко от лампы и самовара. В открытую форточку тянет вкрадчивый пьяный весенний воздух. Сердце надзирателя мякнет и улыбается.

– Ничего, ничего, Коляшка, потерпи, – говорит он, глядя на сына запавшими, усталыми глазами и улыбаясь печально-нежной улыбкой. – Потерпи немножко. Вот выдержишь экзамены и будешь вольный казак. А я к тому времени получу двухмесячный отпуск, и мы с тобой вдвоем дернем куда-нибудь на лоно природы. Возьмем ружья, кодак, удочки и айда по способу пешего хождения.

– Не отпустят тебя, папа, – слабо возражает мальчик.

– Ну, как же так не отпустят? Четыре года я не пользовался отпуском. Да мне уж и помощник пристава дал слово...

– Денег нет свободных...

– Деньги – это пустое, мой милый.

– Положим, у меня от уроков накопилось тридцать четыре рубля, – начинает сдаваться Коля.

– Вот видишь! Считай еще мои наградные на пасху.

– Мама отнимет...

– Ничего. Половину мы с тобой отстоим. Да ты не бойся, достанем как-нибудь. Наконец, не все же нас судьба будет по темени кокать. Может быть, в мае наш билет и выиграет каким-нибудь чудом. Другие же выигрывают? Наконец, отчего бы мне и не получить командировку в Финляндию для изучения полицейского дела? В этом году будут посылать туда, и мне барон фон Эссе почти обещал это дело устроить.

– Ах, папа, в Финляндию бы! – восклицает мальчик, и его зеленые, маленькие, всегда хмурые глаза расширяются и сияют. – Я читал на днях описание. Как чудесно! Шлюзы, водопады, озера...

– А леса-то, леса какие там... Поохотимся, брат Коля, лососину половим. Ты вот что, милый, поди-ка принеси карту России, карандаш и бумагу. А я достану путеводитель!

И через несколько минут они сидят под лампой, коленями на стульях, низко и тесно склонившись над картой. Весенний ветер, этот вечный друг и соблазнитель бродяг, цыган, странников и путешественников, врывается в открытую форточку и своим свежим, пряным, глубоким дыханием кружит им головы. Все забыто: бедность, унижения, тягость службы, недоброжелательство Колиных товарищей, изводящих его службою отца и смешною фамилией... Теперь обе души – изъеденная жизнью, испакошенная, попранная душа полицейского и скрытная, уже озлобленная, засыхающая душа мальчика – раскрылись и цветут. Путешествие по карте, разукрашенной бедной фантазией, так живо и увлекательно!

– Из Выборга по Сайменскому каналу, по шлюзам, – говорит Ветчина, отмечая путь красным карандашом. – Потом Сайменское озеро. Вокруг – погляди на карту – все зеленое – это леса, леса. Сан-Михель, Куопио... Оттуда по железной дороге до Каяны, а оттуда опять озерами и рекой до Улеборга. Оттуда в Торнео пароходом... Граница Швеции. Огромный порт... Океанские корабли... Дешевизна поразительная, потому что нет пошлины... Накупим всякой всячины... А потом – знаешь куда?

– Куда? – спрашивал Коля охрипшим от волнения голосом.

– Из Торнео мы с тобой повернем на восток, и вот, видишь, Кемь? Так мы с тобой до Кеми пешком. Через горы, мимо озера... Как его?.. не разберешь... Озеро Мансельское, между Топозеро и озеро Кунто прямо к Белому морю, к Онежской губе. А оттуда в Соловецкий монастырь, поклонимся святым угодникам Зосиме и Савватию, затем Архангельск и – домой.

– Пешком до Кеми? – переспрашивает Коля и глотает от восторга слюну. – Через лес, через болото? С ружьями?

– А что же, мы с тобою разве не мужчины? Конечно, пешком. Питаться будем дичью, рыбой... Там, я тебе скажу, дичи – видимо-невидимо. Так и кишит!.. Хлеб вот только... Но, знаешь, эти чухны, хоть они и сволочь и бунтуют там чего-то постоянно, но они замечательно гостеприимны. Хлебом мы будем запастись от жилья до жилья. А ночевать в лесу! Подожди-ка, возьми бумагу. Сейчас мы с тобой все это рассчитаем. Начнем с чего? Начнем с двух бурок –

тебе и мне. Мне большую, тебе поменьше. Пиши. Все запишем. Самое необходимое и кому что нести.

Он диктует, а мальчик записывает на аккуратно разграфленном листике.

Предметы	Вес	
	Папе.	Мне.
<i>Бурки</i>	6 ф.	4 ф.
<i>Непромокайки</i>	4 »	3 »
<i>Белье</i>	3 »	2 »
<i>Котелок варить пищу</i>	2 »	— »
<i>Патронташ</i>	2 »	1 ¹ / ₂
<i>Патронов с дробью и пулями</i>	6 »	4 »
<i>Ранцы</i>	2 »	1 ¹ / ₂
<i>Топор рубить сучья для костра</i>	2 »	— »
<i>Табак, спички</i>	2 »	— »
<i>Чай</i>	— »	— »
<i>Сахар</i>	2 »	— »
<i>Мелочи, компас, часы, соль и пр.</i>	— »	1 »
<i>Ружья</i>	7 »	6 »
Итого	38 ф.	24 ф.

Во время составления списка оба великодушничают и любовно перекосятся. Коля хочет нести поклажу поровну. Но отец настаивает на том, что ему, как более сильному и привычному, следует взять груз несколько потяжелее. Список много раз проверяют. Наконец кажется, что взято все необходимое. Коля рассчитывает циркулем по масштабной линейке расстояние. От Торнео до озера Кунто около трехсот пятидесяти верст. Считая в день по семнадцать верст, — сущий пустяк для привычного пешехода, — они в двадцать дней пройдут это расстояние. Озеро Кунто, длиною сто двадцать верст. Его надо проплыть на парусной лодке. Если считать по десять верст в час, то за один длинный летний день можно пройти все озеро в длину. А там рукой подать до реки Кеми...

— Только вот комаров там очень много... Беда, — озабоченно кивает головой надзиратель.

Но Коля недаром читал описание Финляндии.

— Местные жители, — замечает он важно, — имеют обыкновение защищаться от комариных укусов тем, что замазывают глиной шею и лицо, оставляя незакрытыми только глаза и дыхание.

— И гвоздичное масло хорошо помогает, — вспоминает отец.

— Да, и масло. А на ночлегах мы будем разводить костры и жечь хвою. Душистый дым. Они не любят этого. И обоим рисуется белая, тихая ночь в лесу. Над головами меж кустов пахучего можжевельника протянуты, на случай дождя, резиновые плащи, на земле разостланы бурки с изголовьями из молодых ветвей. Горит яркий костер, и в котелке, подвешенном на треножнике, булькает вода, в которой варится дикая утка или глухарь. Грезятся ранние туманные и розовые утра на берегу никому не известной лесной речонки, плеск большой рыбы в озере, туго натянутая леса удочки...

Бьет одиннадцать. У отца и Коли тяжелеют и слипаются глаза, и они с трудом отрываются от волшебного путешествия к северным лесам. Обоих, несмотря на возбуждение, томит невольная зевота. Прощаются они смягченные, ласковые, с теплыми, доверчивыми глазами.

Поздно ночью возвращается домой Вера Ивановна. На цыпочках проходит она через комнату мужа и с отвращением слышит его бред: «Вот так рыба! Десять фунтов!»

От madame Ветчины пахнет духами «Coeur de Janette» и шампанским. Фон Эссе провожал ее домой из театра. По дороге они заехали на полчаса в кабинет ресторана «Версаль» и очень весело провели время. Полураздетая, стоя перед зеркалом, она прижимает руки к груди, делает сама себе страстные глаза и шепчет: «М-мил-лый».

Коля во сне плавает по озерам и пробирается сквозь лесные чащи. Подымается из берлоги потревоженный медведь. Красная пасть раскрыта, сверкают страшные зубы, маленькие глаза злобно блестят. «Ба-ах!» — гремит по лесу выстрел. Это Коля стрелял, и медведь всей своей громадной массой падает к его ногам. Крепко спят путешественники. Завтра ждут их всегдашние будни: Ветчину — служба, привычное озлобление, ругань и брань, ежеминутное ожидание от со-

служивцев какого-нибудь пакостного подвоха и – что всего хуже – преувеличенно ласковое обращение и дружески покровительственный тон фон Эссе, а Колю – утомительная зубрежка и презрительное отчуждение товарищеского кружка. И только вечером они с отцом опять отправятся в очаровательное странствование по карте, куда-нибудь на Кавказ, или на Урал за золотом, или в Сибирь за пушным зверем, или в Тибет вместе с географической экспедицией. Эти фантастические путешествия составляют единственную, большую и чистую радость в их усталой, скучной, вымороченной жизни.

Травка

Ах, это старая история и, надо сказать, довольно скучная история.

Конечно, читателям незаметно. Читатель спокойно, как верблюд, переваривает в желудке пасхальный окорок или рождественского гуся и, для перехода от бодрствования к сладкому сну, читает сверху донизу свою привычную газету до тех пор, пока дрема не заведет ему глаз. Ему легко.

Ничто не тревожит его воображения, ничто не смущает его совести, никто не залезает под благовидным предлогом ему в карман.

В газете порок наказан, добродетель торжествует, сапожный подмастерье нашел благодаря родимому пятнышку своих родителей, мальчик, замерзавший на улице, отогрет попечительными руками, блудная жена вернулась домой (она исхудала и в черном платье) прямо в объятия мужа (пасхальный колокол – бум!..), который проливает слезы.

Но вы, читатели, подумали ли вы хотя раз о тех мучениях, которые испытывает человек, пишущий эти прекрасные добродетельные рассказы!..

Ведь, во-первых, все темы уже исчерпаны, пародии на темы надоели, пародии на пародии отсылают в «Момус»... Подумайте: что тут изобретешь?..

У меня есть друг беллетрист, из средних, который не гонится ни за успехом, ни за модой, ни за деньгами...

И вот как-то на страстной неделе, не помню – в среду, четверг или пятницу, вечером, попили мы с ним чайку, поговорили о том, о сем, коснулись содержания сегодняшних газет, но я уже видел, что мой приятель чем-то удручен или взволнован.

Очень осторожно, стараясь не задеть его авторского самолюбия, я довел его до того, что он рассказал мне следующее:

– Понимаете? Можно с ума сойти! Приезжает ко мне редактор. Подумайте, сам редактор! И что всего хуже – мой настоящий, хороший друг...

– Ради бога, пасхальный рассказ!

Я ему оказываю самое широкое гостеприимство, справляюсь о здоровье его детей, предсказываю его газете громадную будущность, – стараюсь занять его внимание пустяками; понятно, цель моя была отвлечь его от настойчивых просьб о пасхальном рассказе.

Но неизбежное – неизбежно: он возвращается к тому, за чем он приехал.

– Ради бога, рассказ!

Я кротко и убедительно верчу пуговицу его пиджака и самым нежным голосом говорю ему:

– Дорогой мой... милый!.. Ты сам писатель и не хуже меня знаешь, что все пасхальные темы уже использованы.

– Хоть что-нибудь... – тянет он уныло.

– Ей-богу, ничего!..

– Ну, хоть что-нибудь!.. Хоть на старенькую темку строк триста – четыреста!..

Нет, от него не отвязаться. Обмакиваю перо в чернильницу и говорю сквозь сжатые зубы:

– Давай тему!

– Тему? Но это для тебя пустяки!..

– Давай хоть заглавие!.. Помоги же, черт тебя побери!..

– Ну, заглавие – это пустяк!.. Например: «Она вернулась».

– К черту!..

– «Яйцо сосватало».

- К черту!.. –
- «Весенние иллюзии».
- К черту!..
- «Скворцы прилетели»,
- Мимо!..
- «Когда раскрываются почки».

– К черту!.. Милый мой, разве сам не видишь, что все это – опаскуженные темы. И потом: что это за безвкусице делать заглавие рассказа из существительного и глагола? «О чем пела ласточка»... «Когда мы – К черту!.. Милый мой, разве сам не видишь, что все это – опаскуженные темы. И потом: что это за безвкусице делать заглавие рассказа из существительного и глагола? «О чем пела ласточка»... «Когда мы мертвые проснемся»... А в особенности для ходкой газеты. Дай мне простое и выразительное заглавие из одного существительного!..

- Из существительного?..
- Да, из существительного.
- Например... «Чернильница»?!
- Стара штучка! Использовал Пушкин: «К моей чернильнице».
- Ну, хорошо. «Лампа».

– Друг мой, – говорю я кротко, – только очень близорукие люди выбирают для примеров и сравнений предметы, стоящие возле них!..

Это задевает его за живое, и он сыплет как из мешка:

– «Будка», «Кипарис», «Пале-Рояль», «Ландыш», «Черт в ступе». Не нравится? Ну, наконец, «Травка»?..

– Ага, «Травка»?.. Стоп!.. Это уже нечто весеннее и на пасху хорошо. Давай-ка подумаем серьезно о травке!..

И мы думаем.

– Конечно, это очень приятно, такая зелененькая, нежная травка... точно гимназистка приготовительного класса! Надо любить все: зверей, птиц, растения, в этом – красота жизни! Но черт побери: какой – Конечно, это очень приятно, такая зелененькая, нежная травка... точно гимназистка приготовительного класса! Надо любить все: зверей, птиц, растения, в этом – красота жизни! Но черт побери: какой сюжет я отсюда выдавлю?! Ведь всякий рассказ должен быть начат, продолжен и закончен, а я просто говорю: травка зеленая! Ведь читатель пошлет опровержение в редакцию!

У приятеля лицо вытягивается. Я говорю ему самым нежным голосом:

- Подожди... не отчаивайся! Травок много, возьмем «Кресс-салат»...
- «Кресс-салат»? – повторяет он уныло, как деревянный попугай.

– Да, «Кресс-салат»! – кричу я, уже охваченный творчеством, тем вдохновением, о котором так много говорят провинциальные читатели. – Представь себе безногого бедняка, который вдруг снял потный валенок, – Да, «Кресс-салат»! – кричу я, уже охваченный творчеством, тем вдохновением, о котором так много говорят провинциальные читатели. – Представь себе безногого бедняка, который вдруг снял потный валенок, унавозил его, посыпал землицей и бросил зерна... И вот к пасхе у него всходит прекрасная зеленая травка, которую он может срезать и, приготовив под соусом, скушать после пасхальной заутрени! Разве это не трогательно?

– Ты смеешься надо мною! Это подло! Как я явлюсь к издателю без твоего рассказа?

– Ну, хорошо... давай дальше! Собаки лечатся травками...

– Извини, пожалуйста, это уже относится к области ветеринарии!

– Представь себе вкусную душистую травку, которую едят на Кавказе в духанах. Отсюда легко перейти к Зелим-хану! Понимаешь? Ест он барашка с травкой... вспоминает свой мирный аул, слезы текут по его щекам, изборожденным старыми боевыми ранами... И вдруг он говорит пленному полицейскому офицеру, отпуская его на волю: «Иды... кушай травкам... будет тебе пасхам!» Чего ты еще хочешь, черт тебя*побрал бы?! Ну, вот: «Олень копытом разбивает лед, пока не найдет прошлогодней травы... бедные олешки!» Ну, как я выпутаюсь, черт побери, из этого Нарымского края! Нужно будет ввести политического ссыльного, но ведь цензура...

– Цензура!.. – промолвил редактор печально. Потом он немножко помолчал, вздохнул, взял шляпу и стал уходить.

Но вдруг он остановился и обернулся ко мне.

– Заважничал... модернист!.. – бурчал он, открывая дверь. – По-моему, это с твоей стороны свинство! Ты несомненно издеваешься над искусством. Травка... травка... травка... травка!.. А по-моему, надо подходить к вопросу проще...

Я догнал его уже в передней, когда он, рассерженный, всовывал свои ноги в калоши и надевал шляпу.

– Надо писать серьезно... – говорил он. – Конечно, я не обладаю даром, как ты, и найти-ем... Но если бы я писал, я написал бы просто. Помнишь, как мы с тобой, – тебе было одиннадцать лет, а мне десять, – как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырушки на огороде детской больницы?

– Конечно, помню! Дикое растение!

– А помнишь молочай?

– Ах, ну, конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.

– А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?

– Дикая редька?

– Да, дикая редька!.. Но как она была вкусна с солью и хлебом!

– А помнишь: желтые цветы акации, которыми мы набивали полные с верхом фуражки и ели, как лошади озес из торбы?

– А конский щавель?

Мы оба замолчали.

И вдруг пред нами ярко и живо пронеслись наша опозоренная казенным учебным заведением нежность... пансион... фребелевская система... придирки классных наставников... взаимное шпионство... поруганное И вдруг пред нами ярко и живо пронеслись наша опозоренная казенным учебным заведением нежность... пансион... фребелевская система... придирки классных наставников... взаимное шпионство... поруганное детство...

– А помнишь, – сказал он и вдруг заплакал, – а помнишь зеленый, рыхлый забор? Если по нему провести ногтями, следы остаются... Возле него растут лопухи и глухая крапива... Там всегда тень и сырость. И по лопухам ползают какие-то необыкновенно золотые, или, вернее сказать, бронзовые жуки. И красные с черными пятнами коровки, которые сплелись целыми гирляндами.

– А помнишь еще: вдруг скользнет луч, заиграет роса на листьях?.. Как густо пахнет зеленью! Не отойдешь от этого московского забора! Точно брильянты, горят капли росы... Длинный, тонкий, белый червяк, – А помнишь еще: вдруг скользнет луч, заиграет роса на листьях?.. Как густо пахнет зеленью! Не отойдешь от этого московского забора! Точно брильянты, горят капли росы... Длинный, тонкий, белый червяк, выворачивая землю, выползает наружу... Конечно, он прекрасен, потому что мы насаживали его на согнутую булавку и бросали в уличную лужу, веря, что поймает рыбу! Ну, скажи: разве можно это написать? Тогда мы глядели ясными, простыми глазами, и мир доверчиво открывался для нас: звери, птицы, цветы... И если мы что-нибудь любим и чувствуем, то это только жалкое отражение детских впечатлений.

– Так, стало быть, рассказа не будет? – спросил редактор.

– Нет, я постараюсь что-нибудь слепить. А впрочем... Ну разве все то, о чем мы говорили, – не рассказ? Такой в конце концов наивный, простой и ласковый?..

Редактор обнял меня и поцеловал.

– Какой ты... – сказал он, но не закончил, глаза его увлажнились, и он, быстро повернувшись, ушел, сопровождаемый веселым лаем Сарашки и Бернара, моих милых друзей – сенбернарских песиков, – которым теперь обоим по пяти месяцев...

Черная молния

Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: «уездный Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: «уездный город такой-то», не приводя о нем никаких дальнейших сведений. Очень недавно провели близ него железную дорогу из Петербурга на Архангельск, но это событие совсем не отразилось на жизни города. Со станции в город можно до-

браться только глубокой зимою, когда замерзают непролазные болота, да и то приходится ехать девяносто верст среди ухабов и метелей, слыша нередко дикий волчий вой и по часам не видя признака человеческого жилья. А главное, из города нечего везти в столицу, и, некому и незачем туда ехать.

Так и живет городишко в сонном безмолвии, в мирной неизвестности без ввоза и вывоза, без добывающей и обрабатывающей промышленности, без памятников знаменитым согражданам, со своими шестнадцатью церквями на пять тысяч населения, с дощатыми тротуарами, со свиньями, коровами и курами на улице, с неизбежным пыльным бульваром на берегу извилистой несудоходной и безрыбной речонки Ворожи, – живет зимою заваленный снежными сугробами, летом утопающий в грязи, весь окруженный болотистым, корявым и низкорослым лесом.

Ничего здесь нет для ума и для сердца: ни гимназии, ни библиотеки, ни театра, ни живых картин, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарем. Самые плохие бродячие цирки и масленичные балаганы обегают этот город, и даже невзыскательный петрушка проходил через него последний раз шесть лет тому назад, о чем до сих пор жители вспоминают с умилением.

Раз в неделю, по субботам, бывает в городке базар. Съезжаются из окрестных диких деревнюшек полтора десятка мужиков с картофелем, сеном и дровами, но и они, кажется, ничего не продают и не покупают, а торчат весь день около казенки, похлопывая себя по плечам руками, одетыми в кожаные желтые рукавицы об одном пальце. А возвращаясь пьяные ночью домой, часто замерзают по дороге, к немалой прибыли городского врача.

Здесьние мещане – народ богобоязненный, суровый и подозрительный. Чем они занимаются и чем живут – уму непостижимо. Летом еще кое-кто из них копошится около реки, сгоняя лес плотами вниз по течению, но зимнее их существование таинственно. Встают они поздно, позднее солнца, и целый день глазят из окон на улицу, отпечатывая на стеклах белыми пятнами сплюснутые носы и разляпанные губы. Обедают, по-православному, в полдень, и после обеда спят. А в семь часов вечера уже все ворота заперты на тяжелые железные засовы, и каждый хозяин собственноручно спускает с цепи старого, злого, лохматого и седомордого, осиплого от лая кобеля. И храпят до утра в жарких, грязных перинах, среди гор подушек, под мирным сиянием цветных лампадок. И дико орут во сне от страшных кошмаров и, проснувшись, долго чешутся и чавкают, творя нарочитую молитву против домового.

Про самих себя обыватели говорят так: в нашем городе дома каменные, а сердца железные. Старожилы же из грамотных не без гордости уверяют, что именно с их города Николай Васильевич Гоголь списал своего «Ревизора». «Покойный папашка Прохор Сергеича самолично видел Николая Васильевича, когда они проезжали через город». Здесь все зовут и знают людей только по именам и отчествам. Если скажешь извозчику: «К Чурбанову (местный Мюр-Мерилиз), гривенник», – он сразу остолбенеет и, точно внезапно проснувшись, спросит: «Чего?» – «К Чурбанову, в лавку, гривенник». – «А-а! К Порфир Алексеичу. Пожалуйста, купец, садитесь».

Здесь есть городские ряды – длинный деревянный сарай на Соборной площади, со множеством неосвещенных, грязных клетушек, похожих на темные норы, из которых всегда пахнет крысами, кумачом, дублеными овчинами, керосином и душистым перцем. В огромных волчьих шубах и прямых теплых картузах, седобородые, тучные и важные, сидят лавочники, все эти жестокие Модесты Никанорычи и Доремидонты Никифорычи, снаружи своих лавок, на крылечках, тянут из блюдечка жидкий чай и играют в шашки, в поддавки. На случайного покупателя они глядят как на заклятого врага: «Эй, мальчик, отпусти этому». Покупку ему не подают, а швыряют на прилавок, не завернувши, и каждую серебряную, золотую или бумажную монету так долго пробуют на ощупь, на свет, на звон и даже на зуб и притом так пронзительно и ехидно на тебя смотрят, что невольно думаешь: «А ведь сейчас позовет, подлец, полицию».

Зимою, по праздникам, после обеда, этак ближе к вечеру, на главной Дворянской улице происходит купеческое катанье. Вереницей, один за другим, плывут серые в яблоках огромные пряничные жеребцы, сотрясаясь ожирелыми мясами, екая на всю улицу селезенками и громко гогоча. А в маленьких санках сидят торжественно, как буддийские изваяния, в праздничных шубах купец и купчиха – такие объемистые, что их зады наполовину свешиваются с сиденья и по левую и по правую сторону. Иногда же, нарушая это чинное движение, вдруг пронесется галопом по улице, свисти и гикая, купеческий сын Ноздрунов, в нарядной кучерской поддевке, с боярской шапкой набекрень, краса купеческой молодежи, победитель девичьих сердец.

Живет здесь малая кучка интеллигентов, но все они вскоре по прибытии в город порази-

тельно быстро опускаются, много пьют, играют в карты, не отходя от тола по двое суток, сплетничают, живут с чужими женами и с горничными, ничего не читают и ничем не интересуются. Почта из Петербурга приходит иногда через семь дней, иногда через двадцать, а иногда и совсем не приходит, потому что везут ее длинным кружным путем, сначала на юг, на Москву, потом на восток, на Рыбинск, на пароходе, а зимою на «лошадях и, наконец, тащат ее опять на север, две-сти верст по лесам, болотам, косогорам и дырявым мостам, пьяные, сонные, голодные, обрванные мерзлые ямщики.

В городе получают в складчину несколько газет: «Новое время», «Свет», «Петербургская газета» и одни «Биржевые ведомости», или, как здесь их зовут, «Биржевик». Раньше и «Биржевик» выписывался в двух экземплярах, но однажды начальник городского училища очень резко заявил учителю географии и историку Кипайтулову, что «одно из двух – либо служить во вверенном мне училище, либо предаваться чтению революционных газет где-нибудь в другом месте»...

Вот в этом-то городке, в конце января, непогожим метелистым вечером я сидел за письменным столом в гостинице «Орел», или по-тамошнему «Тараканья щель», где я был единственным постояльцем. Из окон дуло, в ночной трубе завывал то басом, то визгливым сопрано разгулявшийся ветер. Унылым колеблющимся пламенем светила тоненькая, оплывшая с одного бока свеча. Я сумрачно глядел на огонь, а с бревенчатых стен меня созерцали, важно шевеля усищами, рыжие, серьезные, неподвижные тараканы. Окаянная, мертвая, зеленая скука обволокла паутиной мой мозг и парализовала тело. Что было делать до ночи? Книг со мною не было, а те номера газет, в которые были завернуты мои вещи и дорожная провизия, я прочитал столько раз, что заучил их наизусть.

И я грустно размышлял, как мне поступить: пойти ли в клуб, или послать к кому-нибудь из моих случайных знакомых за книжкой, хотя бы за специально медицинской к городскому врачу, или за уставом о наложении наказаний к мировому судье, или к лесничему за руководством по дендрологии.

Но кто же не знает этих захолустных городских клубов, или иначе гражданских собраний? Обшарпанные обои, висящие лохмотьями; зеркала и олеографии, засиженные мухами, заплеванной пол; по всем комнатам запах кислого теста, сырости нежилого дома и карболки из клозета. В зале два стола заняты преферансом, и тут же рядом, на маленьких столиках, водка и закуска, так, чтобы удобно было, держа одной рукой карты, другой потянуться в миску за огурцом. Игроки держат карты под столом или в горсточке, прикрывая их обеими ладонями, но и это не помогает, потому что ежеминутно раздаются возгласы: «Прошу вас, Сысой Петрович, вы уж, пожалуйста, глазнапа не запускайте-с».

В бильярдной письмоводитель земского начальника играет в пирамидку с маркером огромными, иззубренными временем, громыхающими на ходу шарами, дует со своим партнером водку и сыплет специальными бильярдными поговорками. В передней, под лампой с граненым рефлектором, сидя на стуле, сложив руки на животе и широко разинув рот, сладко храпит служащий мальчик. В буфете упиваются кавказским коньяком два акцизных надзирателя, ветеринар, помощник пристава и агроном, пьют на «ты», обнимаются, целуются мокрыми мохнатыми ртами, поливая друг другу шеи и сюртуки вином, поют вразброд «Не осенний мелкий. дождичек» и при этом каждый дирижирует, а к одиннадцати часам двое из них непременно подерутся и натакают друг у друга из головы кучу волос.

«Нет, – решил я, – пошлю лучше к городскому врачу за книжкой».

Но как раз в эту минуту в номер вошел босой коридорный мальчуган Федька с запиской от самого доктора, который в дружески веселом духе просил меня к себе на вечерок, то есть на чашку чая и на маленький домашний винтишко, уверяя, что будут только свои, что у них вообще все попросту, без церемоний, что регалий, лент и фраков можно не надевать и, наконец, что супругой доктора получена от мамы из Белозерска замечательных достоинств семга, из которой и будет сооружен пирог. «Sic! – восклицал шутник доктор в приписке, – и теща на что-нибудь полезна!»

Я быстро умылся, переоделся и пошел к милейшему Петру Власовичу. Теперь уже не ветер, а свирепый ураган носился со страшной силой по улицам, гоня перед собой тучи снежной крупы, больно хлеставшей в лицо и слепившей глаза. Я человек, как и большинство современных людей, почти неверующий, но мне много пришлось изъездить по проселочным зимним пу-

тям, и потому в такие вечера и в такую погоду я мысленно молюсь: «Господи, спаси и сохрани того, кто теперь потерял дорогу и кружится в поле или в лесу со смертельным страхом в душе».

Вечер у доктора был именно такой, какими бывают эти семейные вечерки повсюду в провинциальной России, от Обдорска до Крыжополя и от Лодейного поля до Темрюка. Сначала поили тепленьким чаем с домашним печеньем, с вонючим ромом и малиновым вареньем, мелкие косточки от которого так назойливо вязнут в зубах. Дамы сидели на одном конце стола и с фальшивым оживлением, кокетливо выпевая концы фраз в нос, говорили о дороговизне съестных припасов и дров, о развращенности- прислуги, о платьях и вышивках, о способах солки огурцов и шинкования капусты. Когда они прихлебывали чай из своих чашек, то каждая непременно самым противоестественным образом оттопыривала в сторону мизинец правой руки, что, как известно, считается признаком светского тона и грациозной изнеженности.

Мужчины сгрудились на другом конце. Здесь разговор шел о службе, о суровом и непопулярном к дворянству губернаторе, о политике, главным же образом пересказывали друг другу содержание сегодняшних газет, всеми ими уже прочитанных. И смешно и трогательно было слушать, как они проникновенно и прозорливо толковали о событиях, происходивших месяц-полтора тому назад, и горячились по поводу новостей, давно уже забытых всеми на свете. Право, выходило так, точно все мы живем не на земле, а на Марсе ли на Венере, или на другой какой-нибудь планете, куда видимые земные дела достигают через огромные промежутки времени в целые недели, месяцы и годы.

Затем, по заведенному издревле обычаю, хозяин сказал:

– А знаете ли что, господа? Оставим-ка этот лабиринт и сядем в винт. Алексей Николаевич, Евгений Евгеньевич, не угодно ли карточку?

И тотчас же кто-то отозвался фразой тысячетлетней давности:

– В самом деле, зачем терять драгоценное время?

Неиграющих оказалось только трое: лесничий Иван Иванович Гурченко, я и старая толстая дама, очень почтенного и добродушного вида, но совершенно глухая, – мамаша земского начальника. Хозяин долго уговаривал Неиграющих оказалось только трое: лесничий Иван Иванович Гурченко, я и старая толстая дама, очень почтенного и добродушного вида, но совершенно глухая, – мамаша земского начальника. Хозяин долго уговаривал нас устроиться выходящими и, наконец, с видом лицемерного соболезнавания, решил оставить нас в покое. Правда, он несколько раз, в те минуты, когда была не его очередь сдавать, торопливо забегал к нам и, потирая руки, спрашивал: «Ну, что? Как вы здесь? Не очень соскучились? Может быть, вам прислать сюда винца или пива?.. Нехорошо. Кто не пьет, не играет и не курит, – тот подозрительный элемент в обществе. А что же вы вашу даму не занимаете?»

Мы пробовали ее занимать. Заговорили сначала о погоде и о санном пути. Толстая дама кротко улыбнулась нам и ответила, что, правда, она, когда была помоложе, то играла в мушку, или, по-нынешнему, рамс, но теперь забыла и даже в фигурах плохо разбирается. Потом я проревел ей над ухом что-то о здоровье ее внучат, она ласково закивала головой и сказала участливо: «Да, да, да, бывает, бывает, у меня у самой к дождю поясницу ломит», – и достала из мешочка какое-то вязанье. Мы не рискнули больше приставать к доброй старушке.

У доктора был прекрасный, огромный диван, обитый нежной желтой кожей, в котором так удобно было развалиться. Мы с Турченко никогда не скучали, оставаясь вместе. Нас тесно связывали три вещи: лес, охота и любовь к литературе. Мне уже приходилось бывать с ним раз пятнадцать на медвежьих, лисьих и волчьих облавах и на охотах с гончими. Он был прекрасным стрелком и однажды при мне свалил рысь с верхушки дерева выстрелом из штуцера на расстоянии более трехсот шагов. Но охотился он только на зверя, да еще на зайцев, на которых даже ставил капканы, потому что от души ненавидел этих вредителей молодых лесных насаждений. Затаенной и, конечно, недостижимой его мечтой была охота на тигра. Он собрал даже целую библиотеку об этом благородном спорте. На птицу он никогда не охотился и сурово запретил у себя в лесу всякую весеннюю охоту. «Мне в моем хозяйстве птица – первый помощник», – говорил он серьезно. За такую чрезмерную строгость его недолюбливали.

Это был крепкий, маленький, смуглолицый желчный холостяк, с горячими и насмешливыми черными глазами, с сильной проседью в черных растрепанных волосах. Он был совсем одинок, настоящий бобыль, растерявший давно всех родственников и друзей детства, и в нем до сих пор еще сохранилось очень много тех безалаберных и прекрасных, грубых и товарищеских

качеств, по которым так нетрудно узнать бывшего студента лесного, ныне упраздненного, факультета знаменитой когда-то Петровской академии, что процветала в селце Петровско-Разумовском под Москвой.

Он очень редко показывался в уездном свете, потому что три четверти жизни проводил в лесу. Лес был его настоящей семьей и, кажется, единственной страстной привязанностью к жизни. В городе над ним за глаза посмеивались и считали чудачком. Имея полную и бесконтрольную возможность подторговывать в свою пользу лесными делянками, отводимыми на сруб, он жил только на свое полуторастарублевое жалованье, жалованье – поистине нищенское, если принять во внимание ту культурную, ответственную и глубоко важную работу, которую самоотверженно нес на своих плечах целые двадцать лет этот удивительный Иван Иванович. Право, только среди чинов лесного корпуса, в этом распробанном из всех забытых ведомств, да еще среди земских врачей, загнанных, как почтовые клячи, не и приходилось встречать этих чудачков, фанатиков дела и бесребреников.

Много лет тому назад Турченко подал в военное министерство докладную записку о том, что в случае оборонительной войны лесники благодаря прекрасному знанию местности могут очень пригодиться армии как разведчики и как проводники партизанских отрядов, и потому предложил комплектовать местную стражу из людей, окончивших специальные шестимесячные курсы. Ему, конечно, как водится, ничего не ответили. Тогда он, на собственный риск и на совесть, обучил практически всех своих лесников компасной и глазомерной съемке, разведочной службе, устройству засек и волчьих ям, системе военных донесений, сигнализации флажками и огнем и многим другим основам партизанской войны. Ежегодно он устраивал подчиненным состязания в стрельбе и выдавал призы из своего скудного кармана. На службе он завел дисциплину, более суровую, чем морская, хотя в то же время был кумом и посаженным отцом у всех лесников.

Под его надзором и охраной было двадцать семь тысяч десятин казенного леса, да еще, по просьбе миллионеров братьев Солодаевых, он присматривал за их громадными, прекрасно сохранными лесами в южной части уезда. Но и этого ему было мало: он самовольно взял под свое покровительство и все окрестные, смежные и чересполосные крестьянские леса. Совершая для крестьян за гроши, а чаще безвозмездно разные межевые работы и лесообходные съемки, он собирал сходы, говорил горячо и просто о великом значении в сельском хозяйстве больших лесных площадей и заклинал крестьян беречь лес пуще глаза. Мужики его слушали внимательно, сочувственно кивали бородами, вздыхали, как на проповеди деревенского попа, и поддакивали: «Это ты верно.... что и говорить... правда ваша, господин лесницын... Мы что? Мы мужики, люди темные...»

Но уж давно известно, что самые прекрасные и полезные истины, исходящие из уст господина лесницына, господина агронома и других интеллигентных радетелей, представляют для деревни лишь простое сотрясение воздуха.

На другой же день добрые поселяне пускали в лес скот, объедавший дочиста молодняк, драли лыко с нежных, неокрепших деревьев, валили для какого-нибудь забора или оконницы строевые ели, просверливали стволы берез для вытяжки весеннего сока на квас, курили в сухостойном лесу и бросали спички на серый высохший мох, вспыхивающий, как порох, оставляли непогашенными костры, а мальчишки-пастушонки, те бессмысленно поджигали у сосен дупла и трещины, переполненные смолой, поджигали только для того, чтобы посмотреть, каким веселым, бурливым пламенем горит янтарная смола.,

Он упрашивал сельских учителей внедрять ученикам уважение и любовь к лесу, подбивал их вместе с деревенскими батюшками, – и, конечно, бесплодно, – устраивать праздники лесонасаждения, приставал к исправникам, земским начальникам и мировым судьям по поводу хищнических порубок, а на земских собраниях так надоел всем своими пылкими речами о защите лесов, что его перестали слушать. «Ну, понес философ свой обычный вздор», – говорили земцы и уходили курить, оставляя Турченку разглагольствовать, подобно проповеднику Беде, перед пустыми стульями. Но ничто не могло сломить энергии этого упрямого хохла, пришедшегося не по шерсти сонному городишке. Он, по собственному почину, укреплял кустарником речные берега, сажал хвойные деревья на песчаных пустырях и облеснял овраги. На эту тему мы и гово-

рили с ним, свернувшись на обширном докторском диване.

– В оврагах у меня теперь столько нанесло снега, что лошадь уйдет с дугой. А я радуюсь, как ребенок. В семь лет я поднял весеннюю высоту воды в нашей поганой Вороже на четыре с половиной фута. Ах, если бы мне да рабочие руки! Если бы мне дали большую неограниченную власть над здешними лесами. Через несколько лет я бы сделал Мологу судоходной до самых истоков и поднял бы повсюду в районе урожайность хлебов на пятьдесят процентов. Клянусь господом богом, в двадцать лет можно сделать Днепр и Волгу самыми полноводными реками в мире, – и это будет стоить копейки! Можно увлажнить лесными посадками и оросить арыками самые безводные губернии. Только сажайте лес. Берегите лес. Осушайте болота, но с толком...

– А что же ваше министерство смотрит? – спросил я лукаво.

– Наше министерство – это министерство непротивления злу, – ответил Турченко с горечью. – Всем все равно. Когда я еду по железной дороге и вижу сотни поездов, нагруженных лесом, вижу на станциях необозримые штабели дров, – мне просто плакать хочется. И сделай я сейчас доступными для плотов наши лесные речонки – все эти Звани, Ижины, Холменки, Ворожи, – знаете ли, что будет? Через два года уезд станет голым местом. Помещики моментально сплавят весь лес в Петербург и за границу. Честное слово, у меня иногда руки опускаются и голова трещит. В моей власти самое живое, самое прекрасное, самое плодотворное дело, и я связан, я ничего не смею предпринять, я никем не понят, я смешон, я беспокойный человек. Надоело. Тяжело. Посмотрите, что их всех интересует: поесть, поспать, выпить, поиграть в винтишко. Ничего не любят: ни родины, ни службы, ни людей, – любят только своих сопливых ребятишек. Никого ничем не разбудишь, не заинтересуешь. Кругом пошлость. Знаешь наперед, кто что скажет при любом обстоятельстве. Все оскудели умами, чувствами, даже простыми человеческими словами...

Мы замолчали. Из гостиной с четырех столов доносились до нас возгласы играющих:

«Скажу, пожалуй, малю-у-усенькие трефишки».

«Подробности письмом, Евграф Платоныч».

«Пять без козырей?»

«Подвинчиваете?»

«Наше дело-с».

«Рискнем... Малютка, шлем нося».

«Ваша игра. Мы в кусты».

«Да-а, куплено. Ни одного человеческого лица. Так будет, как купили».

«Игра высокого давления».

«Что? Стала она призадумывать себя?»

«Василь Львович, больше четверти часа думать не полагается. Захаживайте».

«Ваше превосходительство, карты поближе к орденам. Я вашего валета бубен вижу».

«А вы не глядите...»

«Не могу, с детства такая привычка, если кто веером карты держит».

«Не угодно ли вам сей финик раскусить?»

Турченко нагнулся ко мне, улыбаясь, и сказал:

– Сейчас кто-нибудь скажет: «Не ходи одна, ходи с маменькой», а другой заметит: «Верно, как в аптеке».

«Какие же вы мне черви показывали? Валет сам третьей с фосками? Это поддержка, по-вашему?»

«Я думал...»

«Думал индейский петух, да и тот подход от задумчивости».

«А вы зачем своего туза засолили? Мариновать его думаете?»

«Не с чего, так с бубен!»

«А что вы думаете об этой прекрасной даме?»

«А мы ее козырем».

«Правильно, – одобрил густым баритоном соборный священник, – не ходи одна, ходи с провожатым».

«Позвольте, позвольте, да вы, кажется, давеча козыря не давали?»

«Оставьте, батенька... Ребенка пришлите, не обсчитаем... У нас верно, как в палате мер и весов».

– Слушайте, Иван Иванович, – обратился я к лесничему, – не удрать ли нам? Знаете, по-английски, не прощаясь.

– Что вы, что вы, дорогой мой. Уйти без ужина, да еще не прощаясь. Худшего оскорбления для хозяина трудно придумать. Вовек вам не забудут. Прослывете невежей и зазнайкой.

Но толстый Петр Власович, еще больше разбухший и сизо побагровевший от жары, долгого сиденья и счастливой игры, уже встал от карт и говорил, обходя игроков:

– Господа, господа... Пирог стынет, и жена сердится. Господа, последняя партия.

Гости выходили из-за столов и, в веселом предвкушении выпивки и закуски, шумно толпились во всех дверях. Еще не утихали карточные разговоры: «Как же это вы, благодетель, меня не поняли? Я вам, кажется, Гости выходили из-за столов и, в веселом предвкушении выпивки и закуски, шумно толпились во всех дверях. Еще не утихали карточные разговоры: «Как же это вы, благодетель, меня не поняли? Я вам, кажется, ясно, как палец, сказал по первой руке бубны. У вас дама, десятка – сам-четверт». – «Вы, моя прелесть, обязаны были меня поддержать. А лезете на без козырей! Вы думаете, я ваших тузов не знал?» – «Да позвольте же, мне не дали разговориться, вот они как взвинтили». – «А вы – рвите у них. На то и винт. Трусы в карты не играют»...

Наконец хозяйка произнесла:

– Господа, милости прошу закусить,

Все потянулись в столовую, со смешком, с шуточками, возбужденно потирая руки. Стали рассаживаться.

– Мужья и жены врозь, – командовал весельчак хозяин. – Они и дома друг другу надоели.

И при помощи жены он так перетасовал гостей, что парочки, склонные к флирту или соединенные давнишней, всему городу известной связью, очутились вместе. Эта милая предупредительность всегда принята на семейных вечерах, и потому нередко, нагнувшись за упавшей салфеткой, одинокий наблюдатель увидит под столом переплетенные ноги, а также руки, лежащие на чужих коленях.

Пили очень много – мужчины «простую», «слезу», «государственную», дамы – рябиновку; пили за закуской, за пирогом, зайцем и телятиной. С самого начала ужина закурили, а после пирога стало шумно и дымно, и в воздухе замелькали руки с ножами и вилками.

Говорили о закусках и разных удивительных блюдах с видом заслуженных гастрономов. Потом об охоте, о замечательных собаках, о легендарных лошадях, о протодьяконах, о певицах, о театре и, наконец, о Говорили о закусках и разных удивительных блюдах с видом заслуженных гастрономов. Потом об охоте, о замечательных собаках, о легендарных лошадях, о протодьяконах, о певицах, о театре и, наконец, о современной литературе.

Театр и литература – это неизбежные коньки всех русских обедов, ужинов, журфиксов и файфоклоков. Ведь каждый обыватель когда-нибудь да играл на любительском спектакле, а в золотые дни студенчества неистовствовал на галерке в столичном театре. Точно так же каждый в свое время писал в гимназии сочинение на тему «Сравнительный очерк воспитания по «Домострою» и по «Евгению Онегину», и кто же не писал в детстве стихов и не сотрудничал в ученических газетах? Какая дама не говорит с очаровательной улыбкой: «Представьте, я вчера ночью написала огромное письмо моей кузине – шестнадцать почтовых листов кругом и мелко-мелко, как бисер. И это, вообразите, в какой-нибудь час, без единой помарки! Замечательно интересное письмо. Я нарочно попрошу Надю прислать мне его и прочту вам. На меня как будто нашло вдохновение. Как-то странно горела голова, дрожали руки, и перо точно само бегало по бумаге». И какая из провинциальных дам и девиц не доверяла вам для чтения вслух, вдвоем, своих классных дневников, поминутно вырывая у вас тетрадку и восклицая, что здесь нельзя читать?

Говорить, ходить по сцене и писать – всем кажется таким легким, пустячным делом, что эти два, самые доступные, по-видимому, своею простотой, но поэтому и самые труднейшие, сложные и мучительные из Говорить, ходить по сцене и писать – всем кажется таким легким, пустячным делом, что эти два, самые доступные, по-видимому, своею простотой, но поэтому и самые труднейшие, сложные и мучительные из искусств – театр и художественная литература – находят повсеместно самых суровых и придирчивых судей, самых строптивых и пренебрежительных критиков, самых злобных и наглых хулителей.

Мы с Турченко сидели на конце стола и только слушали со скукой и раздражением этот беспорядочный, самоуверенный, крикливый разговор, поминутно сбивавшийся на клевету и

сплетню, на подсматриваний в чужие спальни. Лицо у Турченко было усталое и точно побурело изжелта.

– Нездоровится? – спросил я тихо.

Он поморщился.

– Нет... так... уж очень надоело... Все одно и то же долбят... дятлы.

Мировой судья, помещавшийся по правую руку от хозяйки, отличался очень длинными ногами и необыкновенно коротким туловищем. Поэтому, когда он сидел, то над столом, подобно музейным бюстам, возвышались только его голова и половина груди, а концы его пышной раздвоенной бороды нередко окунались в соус. Пережевывая кусок зайца в сметанном соусе, он говорил с вескими паузами, как человек, привыкший к общему вниманию, и убедительно подчеркивал слова движениями вилки, зажатой в кулак:

– Не понимаю теперешних писателей... Извините. Хочу понять и не могу... отказываюсь. Либо балаган, либо порнография... Какое-то издевательство над публикой... Ты, мол, заплати мне рубль-целковый своих кровных денег, а я за это тебе покажу срамную ерунду.

– Ужас, ужас, что пишут! – простонала, схватившись за виски, жена акцизного надзирателя, уездная Мессалина, не обходившая вниманием даже своих кучеров. – Я всегда мою руки с *одеколоном* после их книг. И подумать, что такая литература попадает в руки нашим детям!

– Совершенно верно! – воскликнул судья и утонул бакенбардами в красной капусте. – А главное, при чем здесь творчество? вдохновение? ну, этот, как его... полет мысли? Так ведь и я напишу... так каждый из нас напишет... так мой письмоводитель настряпает, на что уж идиот совершеннейший. Возьми перетасуй всех ближних и дальних родственников, как колоду карт, и выбрасывай попарно. Брат влюбляется в сестру, внук соблазняет собственного дедушку... Или вдруг безумная любовь к ангорской кошке, или к дворникову сапогу... Ерунда и чепуха!

– А все это революция паршивая виновата, – сказал земский начальник, человек с необыкновенно узким лбом и длинным лицом, которого за наружность еще в полку прозвали кобылячьей головой. – Студенты учиться не хотят, рабочие бунтуют, повсеместно разврат. Брак не признают. «Любовь должна быть свободна». Вот вам и свободная любовь.

– А главное – жида! – прохрипел с трудом седоусый, задыхающийся от астмы, помещик Дудукин.

– И мasons, – добавил твердо исправник, выслужившийся из городских, миролюбивый взяточник, игрок и хлебосол, собственноручно подававший губернатору калоши при его проезде.

– Мasons не знаю, а жида знаю, – сердито уперся Дудукин. – У них кагал. У них: один пролез – другого потащил. Непременно подписываются русскими фамилиями, и нарочно про Россию мерзости пишут, чтобы дескри... дескри... дескрити... ну, как его!.. словом, чтобы замарать честь русского народа.

А судья продолжал долбить свое, разводя руками с зажатыми в них вилкой и ножом и опрокидывая бородой рюмку:

– Не понимаю и не понимаю. Выверты какие-то... Вдруг ни с того ни с сего «О, закрой свои бледные ноги». Это что же такое, я вас спрашиваю? Что сей сон значит? Ну, хорошо, и я возьму и напишу: «Ах, спрячь твой красный нос!» и точка. И все. Чем же хуже, я вас спрашиваю?

– Или еще: в небеса запустил ананасом, – поддержал кто-то.

– Да-с, именно ананасом, – рассердился судья. – А вот я на днях прочитал у самого ихнего модного: «Летает буревестник, черной молнии подобный». Как? Почему? Где же это, позвольте спросить, бывает черная молния? Кто из нас видел молнию черного цвета? Чушь!

Я заметил, что при последних словах Турченко быстро поднял голову. Я оглянулся на него. Его лицо осветилось странной улыбкой – иронической и вызывающей. Казалось, что он хочет что-то возразить. Но он промолчал, дрогнул сухими скулами и опустил глаза.

– А главное, о чем пишут? – вдруг заволновался, точно мгновенно вскипевшее молоко, молчаливый страховый агент. – Там – символ символом, это их дело, но мне вовсе не интересно читать про пьяных босяков, про воришек, про... извините, барыни, про разных там проституток и прочее...

– Про повешенных тоже, – подсказал акцизный надзиратель, – и про анархистов, и еще про палачей.

– Верно, – одобрил судья. – Точно у них нет других тем. Писали же раньше... Пушкин пи-

сал, Толстой, Аксаков, Лермонтов. Красота! Какой язык! «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, светят звезды...» Эх, черт, какой язык был, какой слог!..

– Удивительно! – сказал инспектор народных училищ, блестя умиленными глазками из-под золотых очков и потряхивая острой рыженькой бородкой. – Поразительно! А Гоголь! Божественный Гоголь! Помните у него...

И вдруг он загудел глухим, могильным, завывающим голосом и вслед за ним также затянул нараспев земский начальник:

– «Чу-уден Дне-епр при ти-ихой пого-о-де, когда вольно и пла-авно...» Ну, где найдешь еще такую красоту и музыку слов!..

Соборный священник сжал свою окладистую сивую бороду в кулак, прошел по ней до самого конца и сказал, упирая на «о».

– Из духовных были также почтенные писатели: Левитов, Лесков, Помяловский. Особенно последний. Обличал, но с любовью... хо-хо-хо... вселенская смазь... на воздушях... Но о духовном пении так писал, что и до сей поры, читая, невольно прольешь слезу.

– Да, наша русская литература, – вздохнул инспектор, – пала! А раньше-то? А Тургенев? А? «Как хороши, как свежи были розы». Теперь так уж не напишут.

– Куда! – прохрипел дворянин Дудукин. – Прежде дворяне писали, а теперь пошел разночинец.

Робкий начальник почтовой конторы вдруг зашепелявил:

– Однако теперь они какие деньги-то гребут! Ай-ай-ай... страшно вымолвить... Мне племянник студент летом рассказывал. Рубль за строку, говорит. Как новая строка – рубль. Например: «В комнату вошел граф» – рубль. Или просто с новой строки «да» – и рубль. По полтиннику за букву. Или даже еще больше. Скажем, героя романа спрашивают: «Кто отец этого прелестного ребенка?» А он коротко отвечает с гордостью «Я»- И пожалуйста: рубль в кармане.

Вставка начальника почтовой конторы точно открыла шлюз вонючему болоту сплетни. Со всех сторон посыпались самые достоверные сведения о жизни и заработках писателей. Такой-то купил на Волге старинное княжеское имение в четыре тысячи десятин с усадьбой и дворцом. Другой женился на дочери нефтепромышленника и взял четыре миллиона приданого. Третий пишет всегда пьяным и выпивает за день четверть водки, а закусывает только пастилой. Четвертый отбил жену своего лучшего друга, а двое декадентов, те просто по взаимному уговору поменялись женами. Кучка модернистов составила тесный содомский кружок, известный всему Петербургу, а один знаменитый поэт странствует по Азии и Америке с целым гаремом, состоящим из женщин всех наций и цветов.

Теперь говорили все разом, и ничего нельзя было разобрать. Ужин подходил к концу. В недопитых рюмках и в тарелках с недоеденным лимонным желе торчали окурки. Гости наливались пивом и вином. Священник разлил на скатерть красное вино и старался засыпать лужу солью, чтобы не было пятна, а хозяйка уговаривала его с милой улыбкой, кривившей правую половину ее рта вверх, а левую вниз:

– Да оставьте, батюшка, зачем вам затруднять себя? Это отмоется.

Между дамами, подпившими рябиновки и наливки, уже несколько раз промелькнули неизбежные шпильки и намеки. Исправничиха похвалила жену страхового агента за то, что она с большим вкусом освежила свое прошлогоднее платье – «совсем и узнать нельзя». Страховиха ответила с нежной улыбкой, что она, к сожалению, не может по два раза в год выписывать себе новые платья из Новгорода, что они с мужем – люди хотя бедные, но честные, и что им неоткуда брать взятку. «Ах, взятки – это ужасная пошлость! – охотно согласилась исправничиха. – И вообще на свете много гадости, а вот еще бывает, что некоторых замужних дам поддерживают чужие мужчины». Это замечание перебила уже акцизная надзирательница и заговорила что-то о губернаторских калошах. В воздухе назревала буря, и уже висел над головами обычный трагический возглас: «Моей ноги не будет больше в этом доме!» – но находчивая хозяйка быстро предупредила катастрофу, встав из-за стола со словами:

– Прошу извинить, господа. Больше ничего нету.

Поднялась суматоха. Дамы с пылкой стремительностью целовали хозяйку, мужчины жирными губами лобызали у нее руку и тискали руку доктора. Большая часть гостей вышла в гостиную к картам, но несколько человек осталось в столовой допивать коньяк и пиво. Через несколько минут они запели фальшиво и в унисон «Не осенний мелкий дождичек», и каждый

обеими руками управлял хором. Этим промежутком мы с лесничим воспользовались и ушли, как нас ни задерживал добрейший Петр Власович.

Ветер к ночи совсем утих, и чистое, безлунное, синее небо играло серебряными ресницами ярких звезд. Было призрачно светло от того голубоватого фосфорического сияния, которое всегда излучает из себя свежий, только что улегшийся снег.

Лесничий шел со мной рядом и что-то бормотал про себя. Я давно уже знал за ним эту его привычку разговаривать с самим собою, свойственную многим людям, живущим в безмолвии, — рыбакам, лесничим, ночным караульщикам, а также тем, которые перенесли долголетнее одиночное заключение, — и я перестал обращать на эту привычку внимание.

— Да, да, да... — бросал он отрывисто из воротника шубы. — Глупо... Да... Гм... Глупо, глупо... И грубо... Гм...

На мосту через Ворожу горел фонарь. С всегдашним странным чувством немного волнующей, приятной бережности ступал я на ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче подававшийся под ногою. Вдруг Турченко остановился около фонаря и обернулся ко мне,

— Глупо! — сказал он громко и решительно. — Поверьте мне, милый мой, — продолжал он, слегка прикасаясь к моему рукаву, — поверьте, не режим правительства, не скудость земли, не наша бедность и темнота виноваты в том, что мы, русские, плетемся в хвосте всего мира. А все это сонная, ленивая, ко всему равнодушная, ничего не любящая, ничего не знающая провинция, все равно — служащая, дворянская, купеческая или мещанская. Посмотрите на них, на сегодняшних. Сколько апломба, сколько презрения ко всему, что вне их куриного кругозора! Так, походя, и развешивают ярлыки: «Ерунда, чепуха, вздор, дурак...» Попугаи! И главное, — он, видите ли, этого и этого не понимает, и, стало быть, это уже плохо и смешно. Так ведь он дифференциального исчисления не понимает — значит, и оно чепуха? И Пушкина не понимали. И Чехова недавно не понимали. Говорили о его «Степи»: что за чушь — овечьи мысли! Да разве овцы думают? «Цветы улыбались мне в тишине, спросонок...» Ерунда! Разве цветы когда-нибудь смеются! И нынче ведь тоже. «Я, говорит, сам так напишу...»

— А насчет черной молнии? — спросил я.

— Да, да... «Где же это бывает черная молния?» Премилый человек этот судья, но что он видел в своей жизни? Он — школьный и кабинетный продукт... А я вам скажу, что я сам, собственными глазами, видел черную молнию и даже раз десять подряд. Это было страшно.

— Вот как, — молвил я недоверчиво.

— Именно так. Я с детства в лесу, на реке, в поле. Я видел и слышал поразительные вещи, о которых не люблю рассказывать, потому что все равно не поверят. Я, например, наблюдал не только любовные хороводы журавлей, где все они пляшут и поют огромным кругом, а парочка танцует посредине, — я видел их суд над слабым перед осенним отлетом. Я мальчишкой-реалистом, живучи в Полесье, видел град с большой мужской кулак величиною, гладкими ледышками, но не круглой формы, а в виде как бы шляпки молодого белого гриба, и плоская сторонка слоистая. В пять минут этот град разбил все окна в большом помещичьем доме, оголил все тополи и липы в саду, а в поле убил насмерть множество мелкого скота и двух подпадков. Глубокой зимою, в день ужасного мессинского землетрясения, утром, я был с гончими у себя на Бильдине. И вот часов в десять — одиннадцать на совершенно безоблачном небе вдруг расцвела радуга. Она обоими концами касалась горизонта, была необыкновенно ярка и имела в ширину градусов сорок пять, а в высоту двадцать — двадцать пять. Под ней, такой же яркой, изгибалась другая радуга, но несколько слабее цветом, а дальше третья, четвертая, пятая, и все бледнее и бледнее — какой-то сказочный семицветный коридор. Это продолжалось минут пятнадцать. Потом радуги растаяли, набежали мгновенно, бог знает, откуда тучи и повалил сплошной снежище.

Я видел лесные пожары. Я видел, как ураган валил пятисаженный сухостой. Да, я был тогда в лесу с объездчиком, лесниками и рабочими, и на моих глазах сотни громадных деревьев валились, как спички. Тогда объездчик Нелидкин стал на колени и снял шапку. И все сделали то же самое. И я. Он читал «Отче наш», и мы крестились, но мы не слышали его голоса из-за треска падающих деревьев и ломающихся сучьев. Вот, что я видел в своей жизни. Но также я видел и черную молнию, и это было ужаснее всего. Постойте, — перебил Турченко себя, — мы у моего дома. Зайдем ко мне. Михеевна будет ругаться, но ничего. Я вас за это угощу третьегодним квасом. Сегодня, благословясь, почнем.

Михеевна, старая суровая служанка лесничего, и его чудный яблочный квас были известны всему городу. Старуха приняла нас строго и долго ворчала, бродя со свечой по комнатам и лазая по шкафам: «Непутевые, полуночники, мало им дня, по ночам бродят, добрым людям спать не дают». Но квас был выше всех похвал. Он бродил долго сначала в дубовой бочке на хмеле и на дрожжах, с изюмом, коньяком и каким-то ликером, потом отстаивался три года в бутылках и теперь был крепок, играл, как шампанское, и весело» и холодно сушил во рту, немного пьянил и в то же время освежал.

– Вот как это было, – говорил Турченко, расхаживая в заячьей курточке по своему кабинету, увешанному картинами с изображением тигров. – Я студентом приехал на каникулы в самую глушь Тверской губернии к своему двоюродному брату Николаю – к Коке, – так мы его называли. Он был когда-то блестящим молодым человеком, с лицейским образованием, с большими связями и великолепной карьерой впереди, и прекрасно танцевал на настоящих светских балах, обожал актрис из французской оперетки и новодеревенских цыганок, пил шампанское, по его словам, как крокодил, и был душой общества. Но в один миг, буквально вмиг, все Кокино благополучие рухнуло. Однажды утром он проснулся и с ужасом убедился в том, что всю правую сторону его тела разбил паралич. Из самолюбия и из гордости он обрек себя на добровольное изгнание и поселился в деревне.

Но он вовсе не утратил ясности и бодрости духа и с легкой иронией называл себя велосипедистом, потому что принужден был передвигаться, сидя в трехколесном кресле, которое сзади катил его слуга Яков. Он много ел и пил, много спал, писал на пишущей машинке пресмешные нецензурные письма в стихах и часто менял деревенских любовниц, которым давал громкие имена королевских фавориток, вроде Ла-Вальер, Монтеспан и Помпадур.

Однажды, заряжая или разряжая браунинг, с которым Кока никогда не расставался, он прострелил своему Якову ногу. По счастью, пуля попала очень удачно, пройдя сквозь мякоть ляжки и пробив, кроме того, две двери навывлет. Это событие почему-то тесно сдружило барина и слугу. Они положительно не могли жить друг без друга, хотя и ссорились нередко: Кока, рассердясь, тыкал метко Якову в живот костылем, а Яков тогда сбегал на несколько часов из дому и не являлся на зов, оставляя Коку в беспомощном состоянии.

Яков был в душе прекрасный охотник: неутомимый, несмотря на свою хромоту, с хорошей памятью местности, с большим знанием тех неуловимых причин, по которым угадываешь качество и количество дичи. Мы с ним часто ходили на простую мужицкую, очень трудную охоту, то есть без собаки, а с подкраду, требующую большого внимания и терпения. Надо сказать, что Кока неохотно отпускал со мною Якова, – без него он был, как без своих единственных руки и ноги. Поэтому, чтобы выпросить Якова, приходилось прибегать к хитростям. Ничто так не располагало Коку, великодушию, как расспросы о его прежней веселой жизни, когда он считался львом гостиных и милым завсегдатаем шикарных ресторанов.

И так однажды, заведя эту Кокину шарманку и нальстив ему без всякой меры, я умудрился похитить Якова на целую неделю. Пошли мы с ним в дальнюю деревушку Бурцево, где у Коки были лесные участки и славные болотца. Бурцевский мужик Иван, он же и Кокин лесник, говорил, что на Высоком, в Раменье и на Блинове развелось столько глухарей, тетерок, рябчиков, бекасов, дупелей и уток, что просто видимо-невидимо. «Хоть палкой бей, хоть шапкой накрывай».

Мы долго собирались, поздно вышли и пришли в Бурцево к вечерней заре. Ивана не было, он, оказывается, ушел к свояку в Окунево, где праздновали престол. Приняла нас его жена Авдотья, худая пучеглазая баба, похожая лицом на рыбу, и такая веснушчатая, что белая кожа только лишь кое-где редкими проблесками проступала на ее щеках сквозь коричневую маску.

В избе было душно, жужжало множество мух и пахло чем-то противно кислым. В зыбке верещал без умолка ребенок. Авдотья захлопотала.

– Мой-то еще, не знаю, – вернется, не вернется ли. Больно ладное пиво варят в Окуневе. А где пиво – там и Иван. Да вы погодите, кормильцы, я вас своим пивом напою. На спаса варила... Не гораздо густо пиво-то, доливали мы его, а вкусное было да сладкое.

Она подняла за кольцо тяжелую крышку подвала, спустилась туда и через минуту вылезла с большим ковшом домашнего пива. Пока она разливала нам его, я спросил, указав на кричавшего младенца:

– Сколько месяцев ребенку-то?

– Ме-ся-цев? – удивилась баба. – Что ты, кормилец, господь с тобой. Только вчера вечером рóдила. Какой там месяцев? Вчера ровно в это время рóдила. Кушайте, кормильцы, не знаю, как звать-то вас... Вчера только рóдила. Вот как.

Я невольно сказал:

– Вот так фунт.

Но Яков заметил равнодушно и презрительно:

– Это им нипочем. Они привычны. Им – как чихнуть.

Иван все не приходил, должно быть загулял. Пиво было теплое, и в нем плавали мухи. На стены, ради невиданных гостей, сползались из всех углов тараканы. Мы поглядели, посидели и пошли спать в сарай на сено. Не люблю я спать на болотном сене. Сучки какие-то и толстые стебли прут в спину, голова затекает, в носу крутит от мелкой сенной пыли, нельзя курить. Долго я не мог заснуть и все прислушивался к ночным звукам: коровы и лошади где-то сильно и тяжело вздыхали, переступали ногами, ворочались и время от времени тяжело и густо шлепали, перепела кричали в далеких росистых овсах, скрипел своим деревянным скрипом неутомимый дергач.

Заснул я перед зарей, а встали мы очень поздно, в девять часов. Было уже жарко. День обещал быть знойным. Небо простиралось бледное, томное, изнемогающее, похожее цветом на голубой выцветший и вылинявший шелк.

Ивана все еще не было. Мы пошли одни. Сельцо – вернее, выселки – Бурцево состояло всего из трех дворов и расположилось на вершине большого холма, по отлогостям которого спускались пашни и поля. А подножие холма упиралось в болото, растянувшееся бог знает на сколько сот, может быть даже тысяч, десятин. Верстах в трех вдали виднелся волнистый синий хребет – сосновый лес на островке Высоком, куда вела узкая извилистая непроезжая тропинка. Вся же остальная окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли разбросанной ртути, изгибы местных болотистых речонки: Тристенки, Холменки и Звани.

Тяжелый нам выдался день. Парило невыносимо, и через час мы были так мокры от пота, что хоть выжимай. Надоедливая микроскопическая мошкара вилась кучами над головой, залезала в глаза, в нос, в уши и доводила до бессильного бешенства, когда с яростью хлопаешь себя по щекам, размазывая насекомых по лицу, как кашу,

Много раз мы с Яковым теряли друг друга в густом, местами непроходимом кустарнике. Один раз сучок задел за собачку моего ружья, и оно неожиданно выстрелило. От мгновенного испуга и от громкого выстрела у меня тотчас же разболелась голова и так и не переставала болеть целый день, до вечера. Сапоги промокли, в них хлюпала вода, и отяжелевшие, усталые ноги каждую секунду спотыкались о кочки. Кровь тяжело билась под черепом, который мне казался огромным, точно разбухшим, и я чувствовал больно каждый удар сердца.

Приходилось то и дело переходить речонки вброд или по лавам, которые представляют из себя не что иное, как два или три тонких деревца, связанных лыком или прутьями, переброшенных поперек реки и крепленных несколькими парами шатких кольев, вколоченных в дно. Но всего неприятнее были переходы по открытым местам, совсем голубым от бесчисленных незабудок, от которых так остро, травянисто и приторно пахло. Здесь почва ходила и зыбилась под ногами, а из-под ног, хлюпая, била фонтанчиками черная вонючая вода.

Мы заблудились и лишь далеко за полдень добрались до Высокого. Небо теперь было все в тяжелых, неподвижных, пухлых облаках. Мы поели холодного мяса с хлебом, напились воды, пахнувшей ржавчиной и болотным газом, потом развели из можжевельника ароматный костер от комаров и – сам уж не знаю, как это случилось, – заснули внезапным тяжелым сном.

Я первый проснулся. Все вокруг страшно, грозно и жутко потемнело, а зелень болотного кустарника качалась и отливала серой сталью. Все небо обложили громоздкие лиловые и фиолетовые тучи с разорванными серыми краями. Начинал вдали глухо ворчать гром. Я заторопился.

– Ну, Яков, домой. Дай бог добраться. Ходу!

Но, сойдя с острова, возвышавшегося среди болота, мы тотчас же заблудились и стали без толку бродить зигзагами по кустарнику, отступая в сторону от рек, обходя трясины и густые чащобы, теряя друг друга, спеша, путаясь и сердясь.

Стало уже совсем темно, и гром рокотал еще далеко, но уже не затихая ни на мгновение,

когда Яков, шедший впереди и казавшийся мне издали темным, длинным, неясным, шатающимся столбом, друг крикнул:

– Есть дорога!

Да, это была узкая, болотная дорога, кое-где укрепленная поперек хворостом, со следами лошадиного помета. И к нашей радости, мы тотчас услышали невдалеке стук телеги. Быстро-быстро, совсем заметно для глаза, надвигалась тьма. Только на западе, низко над землей, рдела узкая длинная кровавая полоса, отороченная сверху тесьмой из расплавленного золота.

Подъехала телега. В ней сидело двое: баба правила, дергая локтями и вытянув прямо перед собою ноги, как умеют сидеть только деревенские женщины, а старик, немного хмельной, дремал позади. Он проснулся, когда испугавшаяся нас лошадь стала храпеть, артачиться и боком лезть в болото. Мы стали расспрашивать старика про дорогу на Бурцево. Но он тянул и мямлил:

– На Бурцево вам, милые? А вы сами-то чьи будете?

– Ничьи. Из Демцына. От Николая Всеволодыча.

– Знаем, знаем. Только вы, милые, не туда идете. Вам надо податься сейчас во-он куда, прямо на восход. Прямо по стрелябии. Вы что же, рендатели будете в Демцыне?

– Нет, я проезжий, родич демцынского барина.

– А, так, так, так... Сродственник, значит? До Бурцева вам эвона прямо куда. Так прямо по стрелябии и вдаряйте. С охотой, значит, ходили?..

Но мы не успели ответить. Из кустов послышалось пугливое коканье, хлопанье мощных крыльев, и шагах в десяти от нас с шумом поднялся большой тетеревиный выводок, чернея на алой полосе зари. Мы с Яковом почти одновременно выстрелили, не целясь, раз за разом из обоих стволов и, конечно, промахнулись. А телега уже мчалась от нас, прыгая и кося боками на ухабах. Напрасно мы бежали за ней, крича старику остановиться. Он без шапки, стоя нахлестывал кнутом лошаденку, длинный, тощий, несуразный, и, со страхом оборачиваясь назад, кричал что-то злым шамкающим голосом.

Опять мы остались одни. Я предложил было не оставлять дороги, но Яков убедил меня в том, что до Бурцева два шага, а что старицкая дорога ведет в Ченцово, до которого еще добрых пятнадцать верст, – и я согласился с ним. И опять мы полезли в черное, сырое болото. Сходя с дороги, я обернулся назад. Красной полосы уже не было на небе, точно ее задержали занавесом; и мне вдруг сделалось грустно и тоскливо. Не стало больше видно ничего: ни туч, ни кустарника, ни Якова, шедшего со мною рядом, – была одна мокрая, густая тьма. Сверкнула первая молния – наверху загрохотало и оборвалось сухим треском, за ней другая, третья. Потом пошло и пошло без перерыва.

Это была одна из тех ужасных гроз, которые разражаются иногда над большими низменностями. Небо не вспыхивало от молний, а точно все сияло их трепетным голубым, синим и. ярко-белым блеском. И гром не смолкал ни на мгновение. Казалось, что там наверху идет какая-то бесовская игра в кегли высотой до неба. С глухим рокотом катились там невероятной величины шары, все ближе, все громче, и вдруг – тррах-та-та-трах – падали разом исполинские кегли.

И вот я увидел черную молнию. Я видел, как от молнии колыхало на востоке небо, не потухая, а все время то разворачиваясь, то сжимаясь, и вдруг на этом колеблющемся огнями голубом небе я с необычайной ясностью увидел мгновенную и ослепительно черную молнию. И тотчас же вместе с ней страшный удар грома точно разорвал пополам небо и землю и бросил меня вниз, на кочки. Очнувшись, я услышал сзади себя дрожащий, слабый голос Якова.

– Барин, что же это, господи... Погибнем, царица небесная... Молния... черная... господи, господи...

Я приказал ему сурово, собрав всю последнюю силу воли:

– Вставай. Идем. Не ночевать же здесь.

О, что это была за ужасная ночь! Эти черные молнии наводили на меня необъяснимый животный страх. Я до сих пор не могу понять причины этого явления: была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч, или Я до сих пор не могу понять причины этого явления: была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч, или свойства этой проклятой болотной котловины? Но иногда я чувствовал, что теряю с каждой секундой разум и самообладание. Мне, помню, все хотелось закричать диким, пронзительным голосом, по-заячьи. И я все шел вперед,

лепечу богу, точно перепуганный ребенок, несвязные, нелепые молитвы: «Миленький бог, добрый, хороший бог, спаси меня, прости меня. Я никогда не буду». И тут же, зацепившись за кочку, летел локтем в жидкую грязь и остервенело ругался самыми скверными словами.

Вдруг я услышал невдалеке голос Якова, страшный, захлебывающийся голос, от которого я задрожал:

– Барин, утопаю... Спасите, Христа ради... Тону... А-а-а!..

Я кинулся к нему на слух и при непереносимом ослепительном свете черной молнии увидел не его, а лишь его голову и туловище, торчащие из трясины. Никогда не забуду этих выпученных, омертвевших от безумного ужаса глаз. Я никогда бы не поверил, что у человека глаза могут стать такими белыми, огромными и чудовищно страшными.

Я протянул ему ствол ружья, держась сам одной рукой за приклад, а другой за несколько зажатых вместе ветвей ближнего куста. Мне было не под силу вытянуть его. «Ложись! Ползи!» – закричал я с отчаянием. И он тоже ответил мне высоким звериным визгом, который я с ужасом буду вспоминать до самой смерти. Он не мог выбраться. Я слышал, как он шлепал руками по грязи, при блеске молний я видел его голову все ниже и ниже у своих ног и эти глаза... глаза... Я не мог оторваться от них...

Под конец он уже перестал кричать и только дышал часто-часто. И когда опять разверзла небо черная молния, ничего не было видно на поверхности болота. Как я шел по колеблющимся, булькающим, вонючим трясинам, как залезал по пояс в речонки, как, наконец, добрал до стога и как меня под утро нашел слышавший мои выстрелы бурцевский Иван, не стоит и говорить...

Турченко несколько минут молчал, низко склонившись над своим стаканом и ероша волосы. Потом вдруг быстро поднял голову и выпрямился. Его широко раскрытые глаза были гневны.

– То, что я сейчас рассказал, – крикнул он, – было не случайным анекдотом по поводу дурацкого слова обывателя. Вы сами видели сегодня болото, вонючую человеческую трясину! Но черная молния! Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?

Он медленно закрыл глаза, а через минуту уставшим голосом сказал ласково:

– Извините, дорогой мой, за многословие. Ну, давайте выпьем бутылочку моего сидра.

<1912>

Медведи

Молодая восьмилетняя медведица-мать всю осень раздумывала, как ей выгоднее залечь в берлогу. Опыта у нее было немного: всего года два-три. Очень стесняли дети. Прошлогодний пестун начинал выходить из повиновения, воображал себя взрослым самцом, и, чтобы показать ему настоящее место, приходилось прибегать к затрещинам. А двое маленьких – самочки, – те совсем ничего не понимали, тянулись по привычке к материнским сосцам, кусая их молодыми острыми резцами, всего пугались, поминутно совались под лапы или так увлекались игрой друг с другом, что их приходилось долго разыскивать среди облетевших листьев дикой малины, ежевики и волчьей ягоды. «Кто-то, наверное, будет разыскивать наши следы, – думала медведица. – Не человек ли – страшное, непонятное, всесильное животное?» И она старалась скрыть тяжелые следы своих ног. Но на молодом, тающем снегу отпечатки ее ступней ложились всюду черными правильными пятнами среди белого. Это привело ее в отчаяние.

Погода обманывала: то пойдет снег, то перестанет, а наутро вдруг зарядит дождик.

Наконец-то, в исходе октября, она почувствовала, что приближаются вьюги и большой снег. Тогда она приказала детям: – Идите за мной.

И все они, вчетвером, двинулись с юга на север, по тому пути, которого нарочно избегала осенью медведица. Впереди шла она сама, потом маленькие, а сзади пестун. И все они, повинаясь древнему инстинкту, старались ступать след в след. Было у медведицы-матери давно облюбовано, еще летом, укромное местечко. Там свалилась большая сосна, выворотив наружу корни, а вокруг нанесло много лесного лому, веток, сучьев и мусора.

«С севера идет погода, – подумала она. – Снег все занесет, прикроет, обровняет». Идя на берлогу, заботливая мать все царапала когтями стволы деревьев, оставляя для себя приметы. «Как идем, так и выйдем». Трудно было улечься. Казалось тесно. Молодые, еще не отвыкшие от

теплоты материнского тела, они уютно улеглись у матери между ног и около жирного, отъевшегося за осень брюха. Они не очень сердились, если она их немного притискивала, поворачиваясь с боку на бок. И в первый же день затянули привычную медвежью песню-скороговорку: «Мню-мню-мню... мня-мня-мня... мню-мню-мню...»

Пестун долго не мог успокоиться, ворчал, кусался, мял младших лапами, выглядывал наружу, огрызался на мать, все ему казалось неловко. Но наконец и он, повинаясь общему медвежьему закону, заснул крепко-накрепко. И взрослый болван во сне чмокал и хрюкал, как маленький, и так же, как они, прижимался мордой к материнскому чреву.

Мать не спала. Не спала, а только изредка чутко дремала. От ее дыхания вился над берлогой тонкий парок.

И все лесные звери, – белки, куницы, горностаи, лисы, волки, – с уважением издали обходили зимнюю лежку медведей.

Каркали над нею наблюдательные вороны, и сплетничали болтливые сороки, но летели прочь... Высовывала иногда свой нос медведица-мать, хватала гладким языком снег, смотрела на то, как резвятся зайцы, как ныряют с размаху в снежные сугробы тетерева, равнодушно слушала, водя ушами, дальний стук дровосеков и опять засыпала.

В январе она вдруг проснулась. Лес наполнился шумом, собачьим лаем, звуками рогов. «Что-то случилось, – подумала мать. – Это не то, что я слышала всегда». Неуклюже растолкала она младших, ударила лапой заспавшегося пестуна и сама первая высунула навстречу врагу голову и туловище из берлоги. Да. Собачий страстный визг и лай были все ближе и ближе.

«Назад», – подумала медведица и своим криком заставила детей уйти назад, внутрь берлоги.

Но показались уже из-за кустов, из сугробов трусливые, наглые собачьи морды. Собаки и хотели и боялись укусить. Они не лаяли, а скулили. Они дышали часто-часто, и их красные языки были далеко высунуты из пастей.

«Это не серьезно, – подумала мать, тяжело дыша и облизывая языком снег. – Они не посмеют».

Но тотчас же она увидела и почуяла людей. В их суетливых шагах, в их дергающихся движениях, в их человеческих глазах она ясно и твердо прочла: «Нет пощады».

Она хотела кинуться на людей и уже сделала усилие, подняв спиной снежный сугроб и хвою, но ее сразу ослепило и оглушило.

И, падая, теряя сознание, она все-таки успела подумать:

«Пестун дурак... Он даже и дороги не найдет из берлоги обратно... Как же маленькие?...»

– Вот и новогодний подарок, – сказал рослый гвардеец в фантастическом охотничьем костюме. – Как я ее ловко осадил.

Егерь было ухмыльнулся лукаво, но вдруг закричал:

– Готовьсь! Еще!..

Вылез пестун. И мужик-облащик перерубил ему топором спину.

Анафема

– Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, – сказала дьяконица. – Время вставать.

Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины – подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка – точно корпус автомобиля, страшный голос, и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым.

Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно-длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично: смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос.

– Via... кмм!.. Via-a-a!.. Аллилуйя, аллилуйя... Обаче... кмм!.. Ма-ма... Мам-ма...

«Не звучит голос», – подумал он.

– Вла-ды-ко-бла-го-сло-ви-и-и... Км...

Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чипу и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал: «Ах, не сорваться бы!» Однако только один он во всем городе, а может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре-фис-ля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникадилах.

Жеманная кислая дьяконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям, стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос:

– Ми... ми... фа... Ми-ро-но-сицы... Эй, мать, – крикнул он в другую комнату дьяконице, – дай мне ре на фисгармонии.

Жена протянула длинную, унылую ноту.

– Км... км... колеснице-гонителю фараону... Нет, конечно, спал голос. Да и черт подсунул мне этого писателя, как его?

Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке «устава», на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертуллиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов, и как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей.

Это чтение взбудоражило стихийную протодьяконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом.

В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось. Так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз, откашливаясь, попробовал голос. «Км, км... звучит в ре, – подумал он. – А этот подлец непременно задаст в до-диез. Все равно я переведу хор на свой тон».

В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре.

Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт бряцали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы спасителя и богородицы и положили их на аналой.

Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма, с винтовым ходом вверх.

Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни – он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, – поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от до к ре и начал:

– Благослови, преосвященнейший владыко.

«Нет, подлец регент, – подумал он, – ты при владыке не посмеешь перевести мне тон». С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.

Шел чин православия в первую неделю великого поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков – будущий профес-

сор гомилиетики.

Протодьякон время от времени рычал: «Воимем»... «Господу помолимся». Стоял он на своем возвышении огромный, в золотом, парчовом, негнувшемся стихаре, с черными с сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков.

«Странно, – вдруг подумал Олимпий, – отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбью морду, либо на куриную голову... Вот и дьяконица тоже...»

Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой по требнику XVII столетия. Псаломщик кончил молитву: «Всевышний боже, владыко и создателю всея твари». Наконец – аминь.

Началось утверждение православия.

«Кто бог великий, яко бог наш; ты еси бог, творяй чудеса един».

Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствования, написанные по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам: Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее и так далее.

Но с протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена.

Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме, с необычайной яркостью, всплывали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но, безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «аминь» и по древнему ключевому распеву возгласил: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди».

Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблаженного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви: иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина-Булгариса и Ириника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомоллов, жиждующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере.

Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отменяющим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания.

«Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по особливому от них божию благоволению, и при помазаний дарования святого духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену. Ругающим и хулящим святые иконы». И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: «Анафема».

Давно в толпе истерически всхлипывали женщины.

Протодьякон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея: по распоряжению преосвященнейшего владыки анафемствовать боярина Льва Толстого. «См. требник, гл. л.», – было приписано в записке.

От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло. Однако он откашлялся и опять начал: «Благослови, преосвященнейший владыко». Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея:

«Протодиаконство твое да благословит господь бог наш, анафемствовать богохульника и отступника от веры Христовой, блядословно отвергающего святые тайны господни боярина Льва Толстого. Во имя отца, и сына, и святого духа».

И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести:

«...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

– Дура, дура! – заговорил он. – Куда летишь? Дура! Дура! – Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

– Сторишь, дурочка, вот сюда лети, места много, – приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. – Сама себя губишь, а я тебя жалею».

«Боже мой, кого это я проклиная? – думал в ужасе дьякон. – Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности».

Но, покорный тысячелетней привычке, он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удары огромного медного колокола...

...Бывший поп Никита и чернцы Сергей, Савватий да Савватий же, Дорофей и Гавриил... святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хотят; все за такое богопротивное дело да будут прокляты...

Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной.

«А то раз сидел на воде, смотрю – зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чьи такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то черт: взял за ножки да об угол! Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить».

...Хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да придет проклятельство и анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удушение, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не примет, и да будет часть его в геенне вечной, и мучен будет день и ночь...

Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова:

«Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь».

Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые, наряду с чином исповедания мирских человек, мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства.

Лицо его стало синим, почти черным, пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок. Но он справился. И, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно:

– Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боярину Льву...

Он замолчал на секунду. А в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченная одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

–...Многая ле-е-е-та-а-а-а.

И вместо того чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь: «Многая, многая, многая лета».

На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались: отец настоятель, отец благочинный, консис-

торский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

– Оставьте меня... Оставьте в покое, – сказал отец Олимпий гневным свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. – Я сорвал себе голос, но это во славу божию и его... Отойдите!

Он снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный, прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.

Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав рясы, залепетала:

– Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Наглотался с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

– Все равно, – прошипел, глядя в землю, дьякон. – Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. «Все бог сделал на радость человеку», – вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

– Дурак ты! Верзило! – закричала дьяконица. – Скажите – на радость! Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!.. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду... Допился до белой горячки, бревно дубовое.

Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширя большие волосьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово:

– Ну?!

И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала.

А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.

<1913>

Слоновья прогулка

Слону Зембо было около двухсот девяноста лет, может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка в дремоте по утрам вспоминал, как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе, по железным дорогам и в громадных железных клетках на колёсах; как приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб из рук человека, подымать с земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа, и как, наконец, опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину просторной, холодной Москвы, и поместили в сарае за железную решётку, напротив слонихи, шагах в двадцати от её решётки. Самка Нелли, которая была моложе его лет на пятьдесят – семьдесят пять, была вывезена из Замбези, но она сдохла от тяжёлого климата, а может быть, и от невнимательного ухода. Прожила она в заключении около пятидесяти лет. Приплода у них не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются.

Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зембо не любил. Нередко в булках, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла; праздные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему нюхательным табаком в глаза. Очень часто жалкий чиновник, водя в праздник свою жену, детей, свояченицу и племянницу по зоологическому саду, отличался пред ними храбростью: щёлкал бедного Зембо ногтем по концу хобота или совал ему в ноздри зажжённую сигару, но благополучно и поспешно отступал, когда Зембо высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы убить не только человека, но и льва. Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным!

Однако исполинская, великодушная слоновья натура Зембо не выходила из равновесия. Он лишь запоминал со свойственной слонам остротой памяти своих мучителей, прекращал с ними

всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решётку.

Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно, трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в лицо из ноздрей своим тёплым, сильным, приятным сенным дыханием.

Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому: к насекомым, к зверькам. Кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили расплодиться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и сено, грязнили его питьевую воду и часто, взбираясь своими цепкими лапками на его ноги, щекотали громадного Зембо до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ею нечаянное неловкое движение и наступил на кролика. Вместо белого зверька осталось на земле круглое красное пятно. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл пятно из пожарной трубы.

Привязан был он к маленькой тумбочке небольшой цепью. Ухаживал за ним татарин Мемет Камафутдинов, и они были настоящие друзья.

Но вот как-то ему пришло в голову прогуляться. В Москве наступила весна. Расцвели в зоологическом саду на лужайках жёлтые одуванчики, золотые лютики, синяя вероника. В это время во всём зоологическом саду был беспорядок. Хорьки, львы, орлы, барсуки, дикобразы, куницы, пумы – все жаждали свободы и страстно метались в своих клетках. Запахло землёй, берёзовым листом и травами.

И тогда-то, жадно принюхиваясь несколько дней к воздуху, Зембо вдруг догадался, что цепь на его задней правой ноге совсем его не связывает. Он потянул ногу и разрушил сразу всё человеческое сооружение. Разорвал цепь, опрокинул тумбочку, к которой был привязан, разбил головой клетку и ушёл.

Он обошёл вокруг весь зоологический сад победной, торжествующей походкой. И всё время высоко поднятый хобот Зембо трубил радостную песню, понятную каждому животному: «Празднуйте, веселитесь, играйте друг с другом, славьте песнями и плясками весну!» И в ответ ему взволнованно рычали львы, клектали орлы, гоготали и свистели в гнёздах птицы, мычали буйволы и грациозные, нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами.

Медленно, вежливо вышло это огромное животное из зверинца и прошло в открытые двери, стараясь никого не раздавить. В это время цвела сирень, её нежный, сладкий запах делал людей и животных как пьяными. Но мудрого Зембо не покидала привычная кроткая осторожность. Он деликатно перешагнул через целую компанию красных в чёрных крапинках букашек, связавшихся цепью по дорожке, не тронув из них ни одной, а столкнувшись в воротах сада с барышней-кассиршей, учтиво дал ей дорогу и в знак приветствия так сильно дохнул ей в лицо, что совсем сбил и растрепал её модную причёску.

Слону хотелось только размяться. Он подошёл к будке городского (а в то время в Москве ещё были на площадях будки для городских, отчего и сами городские прозывались будочниками). Из открытой форточки уютно и мирно пахло хлебом, чаем, махоркой и вином. Добродушно, со свойственной ему привычной ловкостью, он просунул хобот в форточку, взял со стола тёплый филипповский калач и проглотил его.

Дальше его приключения мало достоверны. Утверждают, что на Тверском бульваре от него бежали гурьбой студенты; говорят, что он взвалил себе на спину маленькую девочку, и она от радости хохотала; говорят, что, искусно обвинив хоботом какого-то гимназиста-приготовишку, он посадил его на самый верх липы, к его необузданному восторгу; говорят, что он хоботом вырвал с корнем молодое деревцо, сделав из него себе опахало... Может быть, это всё правда, а может быть – неправда, за истину я ручаться не могу.

Но уже о необыкновенном путешествии слона было дано знать полиции.

Тверская часть примчалась в полном составе. Бедного Зембо, который никому не делал зла, начали поливать из брандспойта. Он этому очень обрадовался, потому что всегда любил купание. С искренней радостью он поворачивался то левым, то правым боком, и его маленькие глаза ласково щурились. «Чудесная погода, отличный воздух и... какой славный душ!» – добродушно ворчал Зембо, свивая и развивая свой хобот.

Но всё гуще и гуще собиралась около него толпа, Зембо уже начал чувствовать смутное беспокойство. Вдруг выступил господин в чёрном сюртуке и блестящей чёрной шляпе. Зембо

давно его знал и благоволил к нему за ласковое отношение: это был директор зоологического сада. В руках он держал такую большую булку, какой слон ещё никогда не видывал, и от неё чертовски вкусно пахло душистым перцем и крепким ромом.

– О-о-ого, Зембо, – вкрадчиво приговаривал директор и совал ему на вытянутой руке большой кусок лакомства.

Слон, наконец, решился попробовать и, отправив булку в рот, признательно закивал головой; «необыкновенно вкусная штука, – сказал он, – я ничего подобного не ел в жизни». Но за вторым куском ему пришлось пройти шагов тридцать, за третьим – перейти через улицу, а четвёртым его заманили в какой-то длинный узкий проход без окошек и без дверей. И тут он ещё не успел прийти в себя от изумления, как почувствовал, что его хобот, шея и все четыре ноги были уже обхвачены, скручены и связаны стальными и пеньковыми канатами. Он рухнул на землю. Пять пар бесившихся, вспененных лошадей выволокли его из тупика опять на мостовую. Сотни людей и десятки лошадей заставили его подняться, и, весь скованный, обессиленный, он покорно вернулся в свою тюрьму. Только теперь железная решётка была вдвое толще, и уж не одна, а две массивных якорных цепи привязывали его за одну переднюю и за одну заднюю ногу.

С этого дня кротость, великодушие, вежливость совсем покинули слона, и в нём жили только гнев и мщение. Теперь он поистине стал страшен. Его маленькие кровавые глаза горели бешенством. Днём и ночью, почти не переставая, он ревел, и к этим крикам негодующего царя в молчании и с ужасом прислушивался весь зверинец. Публику уже перестали пускать в сарай, потому что вид людей приводил Зембо ещё в большую ярость. Один Мемет Камафутдинов отваживался входить к нему, чтобы переменить воду и дать нового корма. Но дружба между ними окончилась. Слон только презрительно терпел Мемета; на все его нежные, трогательные и убедительные разговоры он отвечал отрывистым и почти враждебным криком: «Уйди, сделал своё дело и уйди, не хочу тебя: ты тоже человек!»

С каждым днём его ярость росла. Ничто не помогало: ни холодные души, ни мешки со льдом на затылок, ни бром, примешиваемый к питью. Однажды, в жаркий полдень, слону удалось, наконец, расшатать и вырвать из стены огромное кольцо, прикреплявшее цепью его заднюю ногу. Испуганный Мемет побежал доложить об этом по начальству, и через несколько минут перед решёткой собралась густая толпа народу. Слон, обвинившись хоботом вокруг железных брусьев и передав своё исполинское тело на левый бок, делал невероятные усилия, чтобы вырвать из стены второе кольцо, удерживавшее его правую ногу. Его тотчас же окатили из рукава холодной водой: это на минуту укротило его свирепость. Он оставил в покое решётку и, насторожив свои аршинные уши, внимательно и злобно глядел на людей.

– Другого средства я не вижу, – сказал дежурный ветеринар и тотчас же очень ловко проделал в французской булке маленькую дырочку и быстро указательным пальцем вытащил из неё почти весь мякиш. Потом он всыпал в отверстие около четверти фунта цианистого кали, заделал дырку и полил булку патокой с вином.

– Ну, бедный Мемет, – сказал директор, – знаю, что тебе нелегко, а ничего не поделаешь. Иди, угости слона в последний раз.

– Вашам приасходительствам! Она, даст бог, будет здорова. Зачем? – говорит Мемет, и по его сморщенному, старушечьему, бритому лицу покатались слёзы.

– Иди, иди. Нечего миндальничать.

Слон не сразу взял булку. Он долго недоверчиво обнюхивал, но всё-таки взял. Кругом защёлкали кодаки и затрещал кинематограф. Минуты с четыре Зембо стоял неподвижно, точно изумляясь чему-то, потом вдруг издал резкий крик отчаяния, боли и смерти.

Он долго неустойчиво качался, передавая свой громадный вес с передних ног на задние. И вдруг повалился на левый бок, увлекая в своём падении цепь от передней ноги и вырванное из стены тяжёлое кольцо с полуаршинным болтом.

Тем и кончилась его прогулка.

<1912>

Жидкое солнце

Я, Генри Диббл, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необычно-

венных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Много из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия.

Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес».

Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча... Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть, даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное – нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать – совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.

Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тьютора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно.

Ни на заводах, ни в технических конторах – нигде я не мог и не умел пристроиться. Большой частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.

Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.

Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не при-

ходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба наконец сделалась перед моим англосаксонским мужеством.

Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существования лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шу-тя мог зарабатывать восемь – десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратнo напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.

Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсu манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно *нуждался*. У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, – но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений – ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.

Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнущую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:

– Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.

Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление: «Стряпчие «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалованье – 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов». Я потому так твердо цитирую это объявление,

что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою. – Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие, – сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. – Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сэндвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия! На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».

В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной – таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, – дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный вконец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов! Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего возраста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытасканных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они, взятые вместе.

Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:

– Номер восемнадцатый, и, слава аллаху, последний! Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне⁸, был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив ногу на ногу.

Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.

– Подождите, – сказал смуглый. – Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.

Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.

– Наконец-то хоть один в чистом белье, – сказал он небрежно.

Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:

– Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?

– Вы свободны, доктор, – сказал стряпчий. – Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?

– О, мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам. Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из

⁸ Пиджаке (от фр. veston)

его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголки.

– Поговорим, – сказал он отрывисто. – Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?

Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне...

– Образование?

– Королевский университет.

– Специальность?

– Математический факультет. В частности, физика.

– Иностранные языки?

– Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.

– Родственники и их социальное положение?

– Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?

– Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.

Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:

– Пьете? И сколько?

– Иногда во время обеда полпинты пива.

– Холост?

– Да, сэр.

– Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?

– О нет.

– Мимолетная любовь?

– Нет, сэр.

– Гм... Чем теперь занимаетесь?

Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.

– Так, – сказал он, когда я окончил. – Нуждаетесь сейчас в деньгах?

– Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Слежу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.

– Не хотите ли денег вперед? В задаток?

– Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего... Да мы еще не покончили.

– Правила ваши недурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И вероятно, очень скоро. Доброго пути.

– Простите, мистер Найдстон, – возразил я. – Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?

– Прошу вас.

– Цель поездки?

– Эге! Разве вам не все равно?

– Предположим, что нет.

– Цель чисто научная.

– Этого мало.

– Мало? – вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. – Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтора столетия и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?

– О сэр, я не сомневаюсь, – возразил я сконфуженно.

– Хорошо, – прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. – Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона...

– Куда? – спросил я быстро.

– Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.

– Странно, – сказал я.

– Удивительно странно, – охотно подхватил стряпчий. – И даже, если угодно, я вам скажу больше: это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!

Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.

– Подождите, – воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон. – Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять – тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экранадвигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее и так далее, – то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.

– Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?

– Если хотите, – да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой – из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устройства и украшения земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастью будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.

Я невольно привстал, повинувшись его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.

– Да, да, поглядите, – произнес мистер Найдстон, – поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения земли. Он говорит вам, что все, что есть на земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов – все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?

– Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца? Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо:

– Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий – хранитель и представитель чужих интересов.

После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе наконец надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решила показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, – человек шесть или семь Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.

И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451. Найдстон».

Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в двухстах. Мистер Найдстон был один. Ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне

третьего дня о счастье будущих поколений. Нет. Это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня, как следователь.

– Здравствуйте, садитесь, – сказал он, указывая на стул. – Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найдстон и сын, но сам

– холостой и одинокий человек. Итак, – есть? Пить?

Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найдстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил:

– Итак, согласны?

– Купить кота в мешке? – спросил я, в свою очередь.

– Нет, – воскликнул он громко и сердито. – Прежние условия остаются *in status quo*⁹. Перед отправлением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы, с своей стороны, можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной.

Я внимательно поглядел на него. В это мгновение он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу – странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутягу, готового засадить за два пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния. И Найдстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой.

– В конце концов вы мало чем рискуете, дорогой мистер Диббль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас на крайний случай месяца два, – может быть, недель больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояковыпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет... «Обсерватория! – радостно подумал я. – Конечно, это обсерватория! Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба».

Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее.

– Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся, это я вижу по вас, но, – и он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался, – но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около десяти, двадцати чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался впросак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак?

Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорила ее.

– Хорошо, – сказал я. – Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении.

– О, зачем так скоро, – возразил добродушно мистер Найдстон. – У нас впереди пропасть

⁹ В прежнем положении (лат.)

времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета. — Он надавил кнопку висячего звонка. — Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же, в восемь часов вечера, вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали, — вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом, — если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Диббл!

Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренне:

— За чем же дело стало, дорогой мистер Найдстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я.

Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный, длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом:

— Эх, мой милый! Контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами... всего я и не перечислю... Значит, больше никаких сомнений?

— Нет.

— Итак, чокнемся и споем: «Rule Britannica»¹⁰. И мы чокнулись и запели — я, почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, — запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире:

Правь, Британия, Правь через волны, Никогда, никогда, никогда Англичанин не будет рабом!

Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найдстону, сказал:

— Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в Королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов... но у всех у них очень капризный музыкальный слух.

— Вы правы, — кротко ответил стряпчий, — и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля.

Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки: Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольдов в Гамбурге, Пейсе, братья Шотт и Сляттф в Иене; в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера и там же Мерц; Шик в Берлине, Беннех и Вассерман там же. И там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак.

Маршруты, составленные мистером Найдстоном, были необычайно точны, вплоть до указаний времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция: «Если бы Чане и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французам и немецким шнурбартбиндхалтерам»¹¹.

Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз, в критические моменты, в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найдстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найдстона, служили в моих руках

¹⁰ «Правь, Британия!» (англ.)

¹¹ Наусникам (от нем. Schnurrbartbindhalter)

подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным, глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезками. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный пятидесятидюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, – у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума.

Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные, ученые люди старались, поочередно, по секрету друг от друга, проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самому, патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и т. д., и т. д. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найдстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные, чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые стеклянные, странной формы колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе не виданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным: загадочное предприятие, которому я *служил*, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия.

От назойливых расспросов я отделялся тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию: толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в двести тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон¹², хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул:

– Э, бросьте, мой милейший, эти штучки. Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на...

Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз, на мостовую, сказал твердо:

– Еще одно слово – и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два...

Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали.

Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик – Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэльс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и к господину Маасу?» А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом?»

Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и зашифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба

¹² Порода лошадей (от фр. *percheron*)

явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность.

– Извините нас, молодой человек, и не считите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим, – сказал старший из них и более важный – Даниэльс. – На линии Амстердам – Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порою даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям, и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором? Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят в сложности около миллиона трехсот тысяч франков и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а пожалуй, и во всей вселенной.

Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллианщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь:

– Не хотите ли теперь взглянуть на них?

– Если это удобно и возможно для вас, то, пожалуйста, – сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение.

Оба еврея, почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра, – Даниэльс дубовый, а Маас красный сафьяновый; осторожно отворили золотые застёжки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые выпуклые стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности.

– Удивительная работа! – воскликнул я, восхищенный. – Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами?

– Молодой человек! – произнес Даниэльс испуганным шепотом. – Это не стекла, а два брильянта. Один, вышедший из моей мастерской, весит тридцать с половиною каратов, а брильянт господина Мааса целых семьдесят четыре.

Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.

– Брильянты? Брильянты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком!

– Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире, – важно подтвердил ювелир, – но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?

– Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найдстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам – ученый по образованию – пока ровно ничего не понимаю.

Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.

– Да... это так, – сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания. – По-видимому, вам известно не более, чем нам, но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями?

– Я связан словом, господин Даниэльс, – возразил я по возможности мягко.

– Да, это так... это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и брильянтов, совершенным незнакомцем.

Еврей усмехнулся тонкой улыбкой.

– Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна.

– Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих? – удивился я. – Ну, и болтун же этот немецкий боров.

Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде.

– Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать! Нам, у которых в блиндированных несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию. Да. А через три дня о вашем поступке узнал и мистер Найдстон.

– Этого еще не доставало! – воскликнул я в смущении.

– Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее выиграли. «Знаете, как отозвался о вас мистер Найдстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: «Я заранее был уверен, что этот славный малый Диббль иначе и не мог бы поступить». И я, с своей стороны, могу только поздравить мистера Найдстона и его главного доверителя с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя... хотя... Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды...

– Да, – подтвердил немногословный Маас.

– Да, – повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволочлось грустью. – Нам привезли эти брильянты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубы и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, – мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос: кто мог придать алмазу такую форму? И притом взгляните, – вот вам лупа, – ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней и какому чудовищному давлению они потом подвергались. И я, – вздохнул грустно Даниэльс, – и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность.

– Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии...

– Оставьте. Я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути. Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать и я спустился в занятую мною каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подостлав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта, со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха, принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке:

– Не волнуйтесь, сэр. Моя обязанность – провести эту ночь около вас на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса.

Старый еврей писал коротко и любезно:

«Не откажите мне в маленьком удовольствии: примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предохраняющий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков.

Даниэльс».

В пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки.

А мой «дог» запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул.

– Благодарю вас, дорогой мистер Диббль, – говорил мне через день мистер Найдстон, крепко пожимая мою руку. – Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжение недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с

вами пообедаем и выедем в Саутгемптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалованье и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник.

В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найдстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов.

– Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один, – говорил мистер Найдстон. – С вами вместе отправляется некий мистер де Мои де Рик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы, как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная беспричинная антипатия, попросту – старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от галльского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чальсбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мои де Рик приедет минут через двадцать – двадцать пять с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные, хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить три-четыре года бок о бок черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбэ, где вас, белых людей, будет всего пять-шесть человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните – вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с одиннадцатичасовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам.

– Нет, дорогой мистер Найдстон, я уже на Каямбэ, – возразил я, смеясь. – Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному труду, и когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчэпла перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах.

– О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной, по своей идее, работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то небольшое, что мне известно. Лорд Чальсбери вот уже девять лет трудится над невероятным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше – сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам...

– Неизмеримо! – повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найдстона.

– Вот и все, что я знаю, – произнес стряпчий. – Нет, знаю еще из личного письма лорда Чальсбери ко мне, что теперь он более, чем когда-либо, близок к счастливому окончанию своего труда и менее, чем когда-либо, сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чальсбери – это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И, кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца... Но вот подымается по сходне и ваш спутник, – вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найдстон. – Возьмите же себе этот конверт. Там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней шестнадцать – восемнадцать. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук тридцать кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали за-

ранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай... Кстати, вас укачивает в море?

– Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море.

Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво:

– Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Диббль, счастливого плавания, бодрости и здоровья... Здравствуйте, мистер де Мои де Рик. Познакомьтесь, господа. Мистер Диббль, мистер де Мои де Рик – будущие коллеги и сотрудники.

Мне самому тоже не особенно понравился этот фронт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего он походил наружностью на левантинца, со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время прозвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным голосом, сигнальная труба.

– Ну, теперь прощайте, господа, – сказал мистер Найдстон, – от души желаю, чтобы вы сделали друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания.

Он живо спустился по сходне с парохода, сел в ожидавший его на пристани кеб, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку. Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти семнадцать дней тянулись для меня, как сто семьдесят лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем.

С де Мои де Риком мы встречались по несколько раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли.

Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найдстоном. Большинство их были узконаучные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описания опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и две-три книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мои де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк.

Наконец-то мы прибыли в Аспинваль (он же Колон), на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найдстона, мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою в купе. Драгоценные шлифованные брильянты были, конечно, при мне, но я – теперь мне стыдно в этом сознаться – не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова. Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом, зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гваякиль, от-

туда на лошадях и опять по железной дороге до г. Квито. В Квито, следуя указаниям мистера Найдстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор» и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь, в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные – эти мулы. Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные, стаканчиками, копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла.

К пяти часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами.

В шестом часу, когда мы прошли небольшой туннель, перед нашими глазами вдруг открылось жилье: несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через четверть часа мы уж были на месте.

Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чальсбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: пятьдесят или семьдесят пять. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, – в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию.

– Я бесконечно рад вашему приезду, – говорил лорд Чальсбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. – Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Вайдстон? Не правда ли, замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель, почтенный Самбо, – указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней. – Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в семь мы обедаем, об остальном распределении времени вам расскажет Самбо. Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искренности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по три комнаты, – простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно. С неопишуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну (на пароходе благодаря качке я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспинваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия, даже моему другу Джону Джонсону). И во все время, пока я нежилась в теплой воде, брал холодный душ, брился, и потом одевался с особою тщательностью, меня не переставала преследовать мысль: почему мне так знакомо лицо лорда Чальсбери? И что такое, почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем? Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому, как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали. Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхолненными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру -5° , которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов: белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще-черного. Я смотрел и думал: какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят миллион

триста тысяч франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников... Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чальсбери, и вдруг – стоп! – внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как пятнадцать лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лица, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чальсбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чальсбери, другие тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы; третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп, четвертые, и наиболее догадливые, уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу.

Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чальсбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чальсбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через два месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции.

Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга. И почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил:

– Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?

В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гардению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мои де Рик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне. И должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чальсбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге.

– Сейчас выйдет леди Чальсбери, – сказал он, посмотрев на часы. – Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся два-три часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставляю вам полную свободу. Впрочем, то же относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество, и потому... – Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. – Потому, леди Чальсбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей – мистера Диббля и мистера де Мои де Рика. – Мисс Соутни, – обратился он к увядшей спутнице своей жены (она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чальсбери), – это мистер Диббль, а это мистер де Мои де Рик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании.

За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чальсбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал.

Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чальсбери. Она почти не принимала уча-

ствия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была на много, даже очень на много лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, не тронутое экваториальным загаром лицо, в рамке густых золотых волос, с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть, и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света, во влажной темной теплице.

Но я также заметил во время обеда, что и де Мои де Рик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным: изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и не разборчивого в средствах покорителя женских душ. После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мои де Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чальсбери футляр с брильянтами и сказал:

– Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама.

– Вы везли их при себе?

– Да, сэр.

– И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории.

Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он брильянты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения:

– Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхностей. Завтра же утром, мистер Диббль, мы закрепим их на место. До десяти часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мои де Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в десять прошу вас ждать меня у себя дома. Я найду за вами. Ах, дорогой мистер Диббль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом – *Homo sapiens*¹³.

Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором.

На другой день, ровно в десять часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чальсбери.

– Вы готовы. Я очень рад, – сказал патрон, здороваясь со мной. – Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу.

– Три четверти этой чести, если не больше, сэр, по совести принадлежат мистеру Найдстону.

– Да, это прекрасный человек и верный друг, – заметил со светлой улыбкой лорд. – А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?

Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню, белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля. Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чальсбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен семи или восьми высотой. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках посреди операционных зал, на случай тяжелых и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной ка-

¹³ Мыслящим человеком (лат.)

меры, занятой странными, не виданными мною приборами, поднимались вверх три солидных медных цилиндра. На высоте около двух человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на три, более широкого диаметра, трубы; те, в свою очередь, тоже утраивались, а верхние концы последних медных, массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверх, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек – все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса.

Точно угадав мое настроение, лорд Чальсбери заговорил спокойно: – Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбираю, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно.

Итак, в крыше здания проделано двадцать семь близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояковыпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверно, вы и сами понимаете идею? Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором движется целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри, механически, ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации.

– Значит, Гук, и Эйлер, и Юнг?..

– Да, – прервал меня лорд Чальсбери, – и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго – все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через десять минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев, божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да! Теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира... Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу.

– Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц, – сказал лорд Чальсбери. – Тем более что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все двадцать семь обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, – словом, так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите!

Кляк! И двадцать семь крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла.

– Каждое утро вы, мистер Диббль, – продолжал ученый, – должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается.

И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, которую достал из бокового кармана, завернутой в папиросную бумагу...

– Теперь пойдемте вниз, – продолжал он, – я вам покажу ваши дальнейшие обязанности.

Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения:

– Затем вы должны «поймать солнце». Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мною уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время: десять часов тридцать одна минута десять секунд. Вот три кривых рычага: большой – часовой, средний – минутный, малый – секундный. Глядите: поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет десяти часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на тридцать шесть минут. Есть. Перевожу малый – это моя личная фантазия – еще на пятьдесят секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни. Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию, вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими, следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр, мы приближаемся к десяти часам тридцати минутам. Еще пять секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд... Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды; вот регулятор – вперед, назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды.

Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные междупланетные области, вне земной атмосферы. Поэтому: присмотритесь, – вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них – стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз. Я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F, на нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз, в насосный аппарат. Вот шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажатием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинаясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли? Вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон с сгущенным воздухом: в случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще – вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза.

Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая, незначительная, в два-три миллиметра, поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов тринадцать, и вы должны их все контролировать раза три в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх. Мы поднялись по узким ступенькам и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди, легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное поло-

жение. Дно ее представляло из себя крепкое серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркала.

– Это маленький колодезь, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы – это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на нуль. Это пустая работа. Вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту. Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие двенадцать контрольных колодезев я проверял уже один, без помощи лорда Чальсбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу.

– Наденьте консервы. Вот они, – сказал патрон, протягивая мне футляр.

Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше.

– Возьмите более темные очки, – сказал лорд Чальсбери, – у меня их заготовлено до десяти номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр привезенные вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втрое затруднительнее. Хорошо. Так. Теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натерера. Открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура сто пятьдесят градусов, и давление равно двадцати атмосферам; первое показывает манометр, а второе термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее: свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно-яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в одну стотысячную секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре пять. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через три его затвора или, вернее, шлюза.

Вот основа моего собирателя жидкого солнца, – сказал торжественно учитель. – И, чтобы устранить в вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А. Это вы прекратили ход поршня. Подымите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается закрутить изнутри колбу. Это достигается десятью поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой; следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более двадцати фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор. Затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиною в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения.

Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота.

– Внимание! – услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чальсбери. – Открываю!

Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены, и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы.

– Дайте свет! – крикнул лорд Чальсбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости.

– Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена, – говорил он

возбужденно. — Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет. Верите вы теперь в мою задачу?

— Да, — ответил я горячо, с глубоким убеждением. — Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения.

— Но мы с вами пойдем дальше. Еще дальше! Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус двести семьдесят пять градусов, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до тысячи, двадцати, тридцати тысяч атмосфер. Мы заменим наши восьмидюймовые верхние лучесобиратели могучими пятидесятидюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы!.. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на один миллиметр влево, — и я буду безмерно счастлив. Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам, — сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку. Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чальсбери. Леди была в красном шелковом платье, и ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Де Мои де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электро-техника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мои де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводный ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних Ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен: он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами.

Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково-томными, из-под длинных опущенных ресниц, глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных серьезно-загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно! Она в этот вечер напомнила мне детскую игру: в чаше с водой плавают жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина. Но он был безмятежно весел и спокоен. После обеда, когда де Мои де Рик отпросился курить, леди Чальсбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет.

— Давайте сыграем в шахматы, — сказал он. — Вы играете?

— Неважно, но всегда с удовольствием.

— И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина. Он нажал кнопку звонка.

— По какому-нибудь поводу? — спросил я.

— Вы угадали. Потому, что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника, и если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела!

— О сэр!

— Погодите. Какой напиток вы больше всего предпочитаете?

– Мне, право, стыдно сознаться, что я ни в одном из них ничего не понимаю.

– Хорошо, в таком случае я назову вам четыре напитка, которые я люблю, и пятый, который я ненавижу. Бордосские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем шато-ля-роз. Почтенный Самбо, – приказал он безмолвно ожидавшемуся метрдотелю, – итак, бутылку шато-ля-роз.

Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях.

– Послушайте, дорогой Диббль, – сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. – И я и вы, конечно, много раз слышали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей, – кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника, – и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко, обаятельное, украшенное сединой и цветущее старческим румянцем, благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мои де Рик до сих пор ни на йоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найдстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что де Мои де Рик находится в чрезвычайно тяжелом (только не в материальном смысле) положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слышал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Диббль, ваше мнение о нем. Этот неожиданный и не деликатный вопрос покорибил и смутил меня; по правде сказать, я совсем не ожидал его.

– Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найдстон. Я увидел его впервые на борту парохода «Южный крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжение всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр: знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и... несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения.

– Так, мистер Диббль, так. Прекрасно, Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так. Иной характеристики я от вас почти и не ожидал. Но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению: открыть ли ему или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет два года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, денди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника, и очень дорогого помощника, – это вопрос второстепенный, но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном, может быть, даже совершенно случайным болтуном.

– О, неужели вы этого боитесь, сэр?

– Говорю вам искренно – боюсь! Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики и мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец, я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный

недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже тысячи раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Диббл?

– Совершенно, сэр.

– Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю десять тысяч избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы, – в тот вечер я приобрету миллиард для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение, довериться ли мистеру де Мои де Рикку или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении. Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором – верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Диббл?..

Мне напрашивался на язык простой ответ: «Отправьте завтра же этого Нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь». Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:

– Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле?

Лорд Чальсбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой:

– Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару.

В бильярдной мы увидели следующую картину. Де Мои де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чальсбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидал ее плачущей. Лорд Чальсбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мои де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом три часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски рассмеялся...

Все в мире самым странным образом сцепляется.

В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существованиях.

Первые два дня моего пребывания в Каямбэ для меня памятливы до мелочей, но остальное, чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выела первые и последние страницы, а частью и середину. Но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак:

11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чальсбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела (причиной его вовсе не было мое праздное любопытство). Лорд Чальсбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно:

– Ведь вы знаете мистера Найдстона?

– Конечно, сэр.

– Не правда ли, прекрасный человек?

– Превосходный.

– И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист?

– Да, сэр. Но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу.

– Вы наблюдательны, мистер Диббл, – ответил учитель. – Да, так знайте же, что этот чудак вот уже в продолжение пятнадцати лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он лондонский стряпчий. Он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом, в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодрь.

12 декабря. В первый раз лорд Чальсбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных рельс базальтовый окованный монолит в две тысячи пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на восемь часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирию при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя.

20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чальсбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он ни о чем не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая, по своему обыкновению, разговор, заговорил: – Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете. Ведь думать о счастье своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастье человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. «Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы.

3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мои де Риком отношения становятся холодными, почти враждебными.

Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает -21° , твердая уголекислота плюс эфир – минус 80° , кислород -118° , испарение уголекислоты – 130° , атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности.

Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересоваться мной. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность: он высок, худ, сутуловат в плечах; волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженной кверху; нос, вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастье будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся тойтерьеров. Но к учителю он относится – это я не только знаю, но чувствую всей душой – с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мои де Рик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмеется ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им как человеком, и самым неприличным образом и именно в присутствии его жены пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием искажившейся воли, а может быть, и ревности.

Май. Да здравствуют три талантливых поляка – Врублевский, Ольшевский и Витковский и завершивший их опыты Дэвар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до -272° , и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на *целых пять миллиметров*. Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель.

26 июня. По-видимому, де Мои де Рик поверил в жидкое солнце, и теперь – уже без славянского заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере, сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей. Я возразил, правда довольно грубо, на немецком языке:

– Так говорит прусский лейтенант.

Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно:

– Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании.

27 июня. Пишу впопыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории

до двух часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленьей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса.

– Зайдите же, дорогая Мери, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого? И каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?

Я тотчас же увидел их обоих при ярком, южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение!

– Но ваш товарищ... – робко произнесла леди Чальсбери.

– Какой же он мне товарищ? – беспечно рассмеялся де Мои де Рик. – Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в десять часов, чтобы проснуться в шесть. Мисс Мери, идемте, умоляю вас.

И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью.

28 июня, вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мои де Рик, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно:

– Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в два часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой.

– Вы подглядывали, негодяй? – закричал де Мои де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью.

– Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина.

– Вы заплатите мне за это кровью, с оружием в руках! – крикнул де Мои де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки.

– Нет, – твердо ответил я. – Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей, а второе, вот что: я нахожусь при деле огромной, мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз, в Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?

Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи.

– Я изобью вас, как собаку! – заревел он.

Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носу у него хлынула черная кровь. Я вышел.

29 июня. – Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мои де Рика? – вдруг спросил лорд Чальсбери.

– Кажется, ему нездоровится, – ответил я, внимательно глядя в землю.

Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было девять часов вечера, луна еще не восходила. Около нас стояли два негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник № 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы.

– Приготовьте шнур, – приказал лорд Чальсбери, – прокатите катушку вниз, я слишком устал и взволнован, поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо. И мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Диббль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами, во имя славы и радости будущего человечества, озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Allo! Зажгите стопин.

Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за

краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета, рядом последовательных взрывов, приблизительно около шести тысяч в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке.

А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, по светил на него карманным электрическим фонариком и сказал:

– Время горения одна минута одиннадцать секунд. Это настоящая победа, мистер Диббл. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины.

А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чальсбери и мистер де Мои де Рик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито.

Лорд Чальсбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием:

– Ах, зачем они не сказали мне об этом, зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать.

* * *

Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает: чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания.

Около двадцати пяти дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого полуминутного мерцания до мгновенного взрыва – все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбэ. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.

Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с безразличным спокойствием:

– Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдстон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.

Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:

– Дорогой сэр, я не оставляю вас ни на одну секунду.

Он обнял меня и поцеловал в лоб.

На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодичное жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбэ вниз, в долины. Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, – не то албанец, не то сибиряк, – долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», – сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:

– Я еду в Европу, мистер Петр.

– Все равно, и я с вами.

– Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.

– Знаю. Веревка. И однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастье людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Basta.

Я с изумлением и восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно неспособным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:

– Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.

Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями. Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал...

Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было беспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбэ кювету № 216 и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.

– Не думайте, – говорил он, – что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряхлым, растленным и жестокосердным. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире – капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы... Нет, не хочу этого... Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! – вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.

– Что вас так тревожит, дорогой учитель? – спросил я.

– Видите ли, милый Генри... Я опасюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую...

Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу. Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.

– Что? – спрашивал лорд Чальсбери. – Вас ослепило?

– Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?

Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глухим нежным голосом (и от этого прикосновения, и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):

– Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас,

моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуется сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас, и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета номер двадцать один «бэ» и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда, – и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. – Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза. В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее, зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море, и тускло-пурпуровые тучи на небе, и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых седирах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега.

– Пожар? – спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбэ, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии.

– Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает какая сила! И подумать только, что все это напрасно.

Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота:

– Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг, наденьте его сейчас же на себя, завяжите крепко под мышками, но не стесняйтесь дыхания; вот вам фляжка с коньяком, спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада, вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас «Гонзалес» будет опрокинут таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на двадцать, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас бог! Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо... то мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен.

Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно:

– Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?

Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом, помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего

ветра с берега, наоборот – с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку.

– Э! – воскликнул небрежно лорд Чальсбери и устало махнул рукой. – Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность – это вы, но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться – только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать, разве только, – и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой, – разве только раздать его неимущим Норфолькского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошайек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложения. О нет, дорогой друг, я не самоубийца; если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть, – он снял шляпу, и странно было мне видеть его развевающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые, печальные глаза и слышать его голос, звучавший, как органый хорал. – А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному богу, который да простит мне заблуждения моего слабого человеческого ума.

– Аминь, – сказал я.

Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким фантастическим великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной гаваны.

– Готовьтесь. Еще остается минута, две. Не трусите?

– Нет... Но экипаж, пассажиры!..

– Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй! Держитесь!.. Генри!..

Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу-пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым, пенным гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало... и точно весь мир обрушился на палубу.

Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбацкой барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию. История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь благодаря щедрой доброте покойного лорда Чальсбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найдстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чальсбери.

Г. Диббль.

P.S. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною.

Г. Д.

Светлый конец

Ялта – грязная, пыльная, пропахнувшая навозом Ялта – была в этот день такой прекрасной, какой она бывает только в безветренные дни ранней весны. Особенно поражала издали ее сказочная красота тех пассажиров, которые толпились на борту громадного парохода «Е.И.В. Ксения», медленно пристававшего к молу. Многие из них впервые видели с почти чувственным наслаждением эту толпу белых нарядных дач, вилл и дворцов, весело и легко взбежавших от самого моря к зеленеющим горным виноградникам, эти стройные группы тонких темных кипарисов и высоких зеленых тополей, и кое-где такие же стройные, прелестные, но еще более воздушные фигуры минаретов. И самое море в бухте, обычно желто-зеленое от грязи, теперь лежало спокойное, густо-синего цвета, все в ленивых томных морщинках, на которых чуть заметно раскачивались крутоносые турецкие фелюги. И все: могучая синева моря, белизна и зелень города, ясная лазурь неба, – все вливалось в душу какой-то спокойной радостью.

Пароход совсем уже подтянулся к пристани. Носильщики на берегу ждали лишь приказа капитана зацепить сходню за борт. Все пассажиры сгрудились на этом борту с своими картонками, чемоданами и корзинками, нетерпеливые и немного обозленные друг против друга, как всегда это бывает в моменты прибытия поездов и пароходов.

Внизу, в салоне первого класса, оставались только три человека: князь Атяшев, его домашний доктор Иван Андреевич и старый лакей Доремидонт. Господа сидели за столом, а Доремидонт, почтительный, седой и бритый, стоял рядом, с пледом и сумками в руках.

– Ты вот что, Доремидонт, – говорил князь устало. – Ты оставишь пока вещи у горничной... Пусть присмотрит... А ручной багаж сложи вот здесь, на стуле... А сам пойдй вперед и найми два экипажа... Один получше, самый лучший, – для нас с доктором, а другой под тебя и под вещи... Да возьми у извозчиков номера. Иди, иди, а мы подождем...

– Иван Андреевич... не в службу, а в дружбу... затворите, пожалуйста, иллюминатор... кажется, дует. В Ялте вечера всегда сырые... и, кроме того, меня малярия пугает.

Но вряд ли ему уже была опасна малярия или другая какая-либо болезнь. Он был тяжело, безнадежно болен другой, более страшной болезнью. Это заметил бы всякий, совсем неопытный и даже малонаблюдательный человек. Желто-восковая, чуть глянцевитая кожа совершенно обтянула костяк его лица, резко определив виски, скулы и челюсти и оттопырив ушные раковины; растянутые сухие губы точно облипли, не закрываясь, вокруг десен, и из-под них странным жемчужным блеском сверкали влажные зубы, а среди таких же жемчужных широких белков серые глаза глядели с остановившимся выражением ужаса и недоверия. Поминутно князь кашлял тихим, высоким, коротким стонущим кашлем, и каждый раз казалось со стороны, будто бы он с печалью громко вздыхал: ах!, ах!.. И говорил он таким же глухим, высоким, стонущим голосом, с остановками через каждые два-три слова. И когда он поворачивался в сторону, чтобы взглянуть на что-нибудь или ответить на вопрос, то в замедленном движении его головы, в подозрительном и испуганном взгляде его широко раскрытых глаз чувствовалось, что он ежесекундно ожидает тайного приближения какого-то незримого, жестокого и беспощадного врага.

Он страдал злейшей чахоткой в самой последней степени и сам перед собою, перед своей душой делал вид, что болен лишь катаром верхушек легких. Все окружающие, а особенно Иван Андреевич, дружно поддерживали в нем этот самообман. Никто из них, однако, и не подозревал, что по ночам, лежа без сил в кровати, мокрой от его пота, князь с нестерпимым предсмертным ужасом ясно сознавал, что он умирает, и чувствовал, почти видел, как его грозный враг притаился где-то здесь близко, за углом, за портьерой.

Но проходила ночь, наступало утро, и вместе с ним возвращалась в душу обманчивая надежда. Князь, еще не вставая с постели, тревожно смотрелся в зеркало и, с чувством радости, не находил никаких изменений в своем лице. Для него были совсем незаметны те неуловимые черты умирания, которые наносились с каждым прожитым днем и каждой тяжелой ночью.

Он жадно, всеми мыслями и чувствами, цеплялся за жизнь. В последнее время он приказал переделать и отремонтировать свой старинный дом в Москве и устроить роскошные оранжереи в родовом имении Атяшево, мечтал о далеком путешествии вокруг Африки и Азии, лелеял в душе мысль о женитьбе на одной из своих кузин, прекрасной молодой девушке: когда-то, еще будучи кавалерийским юнкером, он танцевал с нею на московских балах, и между ними было что-то вроде наивного, розового, полудетского романа.

– Не люблю я толпы... Иван Андреевич, – говорил он с трудом своим стонущим, глухим голосом, – толкотня... запах... и потом, бог весть, сколько сюда едет больных... плюют... кашляют.

С трапа спустился Доремидонт и доложил, что извозчик готов и что вещи уложены. Медленно, шаг за шагом, часто останавливаясь и со стоном переводя дыхание, поднялся князь на палубу и спустился на пристань. Доремидонт с материнской заботливостью усадил его в легкий двухместный шарабан с полотняным зонтиком наверху, обернув его ноги пледом, а другим пледом бережно укутал его спину и плечи и крикнул кучеру в белом балахоне:

– Трогай. Гостиница «Лондон».

Они поехали оживленными ялтинскими улицами, мимо кофеен, переполненных смуглолицыми, стройными, крепкими турками и греками-рыбаками, мимо дач, сплошь затканых голубыми ароматными гроздьями глициний и вьющимися белыми розами, мимо развесистых могучих платанов и нежно-зеленых тополей, вдоль по набережной, на которой розовели от цветов

широкие кроны мимозы и красовались в золотоверхих шапочках живописные проводники, а доктор, впервые попавший в Крым, не мог сдерживать своего восторга и поминутно восклицал:

– Ах ты, боже мой, какая красота! Подумать только, у нас в Москве слякоть, грязища со снегом, а здесь чисто рай земной. Ялта! Жемчужина Крыма!

Но князю была противна и эта чрезмерная роскошь природы, и это множество здоровых беспечных людей, густо заполнявших тротуары, и докторский пафос. Он поморщился и, кутаясь в свой английский плед, сказал брезгливо:

– Бросьте, дорогой Иван Андреевич. Просто нелепый, грязный, неустроенный – настоящий русский курорт. Через два дня вы другое запоете.

Подъехали к шикарной «Лондон»-гостинице, обогнули полукруг цветущего, наполненного розами цветника и остановились у роскошного подъезда. Несколько человек сидели снаружи на крыльце, на легких плетеных стульях и с дорожными пледами, как и у князя Атяшева, на коленях. Они с ленивым любопытством глядели на приехавших.

Доремидонт побежал доложить. Номера для князя и доктора были заказаны заранее, за пять дней. Через минуту из дверей подъезда выкатился, как большой черный резиновый мяч, толстый, розовый, подвижный метрдотель во фраке, с ослепительно белым вырезом на груди.

– С приездом, ваше сиятельство... Давно ждем-с. Самые лучшие комнаты для вас освобождены. Вид на море, солнечная сторона.

Но лицо его сквозь слащавую улыбку говорило другое:

«Господи! Опять принесло чахоточного, и опять другие господа будут обижаться. Да и, наверное, умрет у нас. Возня, запах ладана по коридорам. Зато фамилия-то какая знатная. И заказано. Ничего не поделаешь».

Он уже учтиво протянул руки, чтобы принять князя под локти, и князь уже спустил одну ногу на подножку экипажа, но вдруг остановился. Он поглядел на управляющего подозрительным взглядом своих огромных жемчужных, пустых и страшных глаз; казалось, он смотрел не на него, а сквозь него, на своего прячущегося тайного врага, и спросил боязливо:

– А это... больных у вас, надеюсь, нет в гостинице? Вот этих... туберкулезных?

– О нет, ваше сиятельство. Таких мы принципиально не пускаем. У нас, ваше сиятельство, исключительно великосветская публика, проживающая в Крыму для чистого воздуха и для собственного удовольствия, а не для болезни. Пожалуйста, милости просим, ваше сиятельство.

Ночь была теплая, и месяц нежно светил над Ялтой, озаряя в тихих садах дремлющие деревья, розовые кусты и благоухающие росистые цветы. Слышно было издали, как стройный оркестр в городском парке играл что-то гармоничное, задумчивое и нежное. Но окна у князя были плотно закрыты и филенки зеленых ставен опущены. Отдаленная музыка раздражала его, каждый звук в соседних номерах или в коридоре заставлял вздрагивать. Он сам сознавал, что ему стало хуже: длинная дорога с ее неудобствами и волнениями совсем расстроила его. И яснее, чем прежде, он чувствовал присутствие в комнате своего страшного, непримиримого врага. Враг осмелел теперь, он уже не таился больше в тени углов и занавесей, но, казалось, кривлял в темноте свое безглазое лицо и бормотал что-то невнятное, темное, угрожающее. И много раз в эту ночь князь освещал электричеством комнату, будил старого Доремидонта, свернувшегося клубком в передней на кушетке, посылал за доктором и часто сменял на себе влажные, холодные рубашки. Под утро, на рассвете, он велел Доремидонту сесть у себя в ногах на постели и рассказывать сказку. И под однообразный мерный распев старинного сказания ему удалось заснуть.

На другой день он попробовал встать и не мог, до такой степени он сразу обессилел. И самый голос его изменился. Князь уже не говорил обычными натруженными, стонущими вздохами, а шептал, и чтобы его расслышать, приходилось нагибаться ухом к самому его рту. Испуганный Иван Андреевич предложил пригласить другого врача. Но князь недовольно махнул рукой и зашептал, прерываясь на каждом слове:

– Оставьте... пройдет само... Это я вчера простудился на пароходе... во время обеда. Иллюминаторы... были открыты. Такая небрежность!

Но доктор настаивал. По его словам, в городе, на собственной даче, живет теперь петербургский профессор Пятницкий – не только русская, но, можно сказать, европейская знаменитость. Он в Крыму никого из больных не принимает, но знакомство с ним Ивана Андреевича по университетской скамье, а главное, титул и богатство князя Атяшева должны непременно повлиять и на этого избалованного человека.

– Хорошо, – прошептал князь, задыхаясь. – Делайте как знаете. Знаменитость заставила, однако, дожидаться себя часа три. В этот промежуток Атяшев страшно волновался. Давило на грудь одеяло, и он сбросил его, но и материя легкой батистовой рубашки продолжала теснить и угнетать распаленное тело. Тогда он приказал Доремидонту отворить окно. В комнату, вместе с крепким запахом и нежными ароматами цветов, вторгся веселый уличный шум: звуки копыт, говор, детские крики, смех. И тотчас же больной задрожал в жестоком ознобе и приказал закрыть окно.

Наконец явился профессор Пятницкий – большой, неуклюжий, еще не старый мужчина. Он был так тяжел и массивен, что когда ходил по комнате, то и мебель и пол скрипели и вздрагивали в ответ его шагам. В нем сразу чувствовался бывший семинарист, поговору на «о», по угловатой развязности и шуткам, даже по манере сморкаться: клеймо, которое в людях не вытравит ни время, ни образование, ни общество. Так именно о нем подумал по первому взгляду князь Атяшев.

– Что, ваше сиятельство, малость порасклеились? Ну, ну, ну, ничего, мы вас починим, – говорил он ласково-фамильярным баском, глядя на Атяшева умными, зоркими темными глазами, – дайте-ка нам исследовать ваше тело белое.

– Да ведь все уже известно, профессор, – недовольно прошипел больной. – Катар, уплотнение верхушек легких.

Однако он уже снимал покорно рубашку, но сам не мог этого сделать, и ему помог Доремидонт. Пятницкий очень долго и внимательно выслушивал и выстукивал князя, а тот испуганно дышал ему в начинавшую лысеть макушку и видел, как от дыхания слабо шевелятся мягкие волосы, пахнувшие вежеталем.

– Что, профессор, здоровая простуда? – прошептал князь, когда Пятницкий, окончив осмотр, укладывал свои инструменты в боковой карман.

Тот промолчал, но с серьезным видом покачал головой.

Атяшев безумным, умоляющим и испуганным взглядом впился ему в лицо,

– Но надеюсь... надеюсь, ничего такого... особенного серьезного? А? Профессор? А?

– Как вам сказать... Серьезного?.. По-моему, очень серьезно... Да вы не волнуйтесь, князь. Ничего нет невозможного для науки, – цедил Пятницкий, глядя куда-то под низ комода. – Пропишу вам на первый случай камфару. А там, как встанете, сейчас же в Ментону, в Каир, в Давос. Лучшее всего в Давос.

Глаза Атяшева все расширялись и все становились безумнее и страшнее.

– Доктор... Иван Андреевич, – прошептал он наконец с усилием. – Оставьте нас вдвоем с профессором. Доремидонт, выйди.

– Профессор, – зашептал он одними губами, когда те двое вышли из комнаты, – я вас хочу спросить... как ученого и очень умного человека. Видите ли, я ничего никогда не боялся, не боюсь и смерти. Я два раза дрался на дуэли, в первый раз меня ранили в грудь, во второй раз я убил. Также я участвовал в двух кампаниях: бурской – волонтером и русско-японской – вольноопределяющимся. Вы видите, за мной опыт. И вот теперь я вас очень прошу: скажите мне прямо, глядя в глаза, как мужчина и как мудрец, сколько времени я еще могу прожить? О, прошу вас, не смущайтесь и не щадите меня... День, два – это меня не испугает. Но у меня есть некоторые обязательства, которые... вы понимаете?

Он шептал, глядя на Пятницкого широко раскрытыми, умоляющими и страшными глазами, и на углах его рта белела пена, в груди что-то klokотало, а его худые, тонкие пальцы жгли и тискали руку профессора.

Все эти расспросы, и безумная мольба в глазах, и внешние симптомы близости смерти были известны профессору так же хорошо, как композитору простая гамма. И неизвестно, что с ним случилось: надоел ли ему пациент и захотелось поскорее от него избавиться, сказалось ли в нем привычное многолетнее равнодушие к чужой смерти, хотел ли он сознательно ускорить конец, чтобы не длить мучений больного, или в самом деле страстная просьба князя показалась ему убедительной и заслуживающей внимания. Но он нагнулся над больным, ласково взял его за плечи и, приблизив свое лицо к самому его лицу, сказал своим теплым, мягким голосом:

– Я вижу, вы настоящий мужчина. Ну, так будьте крепки. Вы говорите, день, два... Ах, если бы так! Но я ручаюсь вам всего лишь часа за четыре и то с камфарой и кислородом. Поэтому если вы человек верующий, то пошлите за священником и сделайте ваши последние распоряже-

ния.

Он не успел договорить. Умиравший мгновенно, конвульсивным толчком, поднялся на постели и плюнул ему в лицо вязкой слюной, смешанной с кровью. Профессор быстро отскочил в сторону и полез в карман за платком.

– Подлец! Сволочь! Убийца! – кричал князь, надрывая последние остатки голоса. – Убийца проклятый, шарлатан и хам! Как ты смел! Как ты смел! Расстрелять тебя, повесить, гад и...

Он закрыл лицо руками, застонал и закашлялся. В комнату тревожно один за другим входили Иван Андреевич и Доремидонт. И они видели, как руки князя вдруг разжались и он сам тяжело упал навзничь на подушки. Рот его полуоткрылся, и из него, с правого бока, потекла густая, непрерывная алая струя. А князь в это время чувствовал и слышал, как к нему быстро подходит тот, таинственный и беспощадный враг, и чем ближе он подходил, тем светлее и радостнее становился его неуловимый образ. И он взял в объятья, более нежные, чем материнские, душу и тело князя и растворился вместе с ними в светлом, бесконечном, мирном и сладком сне.

– Cadaver¹⁴, – сказал в этот момент профессор, выпуская руку, по которой он следил за пульсом.

¹⁴ Труп (лат.).